

KING COUNTY LIBRARY SYSTEM



31000030825833

Саша
ФИЛИПЕНКО

красный
крест



Title: Krasnyĭ krest
Author: Filipenko, Sasha 1984-

Саша
Филипенко



■■■ серия ■■■
«самое время!»

Саша
ФИЛИПЕНКО

Красный крест

роман



Москва 2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2=411.2)
Ф53

Художник
Валерий Калныньш

© Саша Филипенко, 2017
© Состав, оформление «Время», 2017

*С благодарностью
Константину Богуславскому
за помощь в работе
над этой книгой*

Когда подпись поставлена, странная (как и все продавцы недвижимости) женщина говорит:

— Поздравляю! Я за вас очень рада! Вы такой хмурый, а зря! Я отдала вам лучший объект по соотношению цена — качество!

Риелтор вытаскивает из сумочки губную помаду и, не обращая внимания на теперь уже бывшую владелицу, продолжает басить:

— У нас с вами, так сказать, ситуация вин-вин! Вы, кстати, с кем здесь собираетесь жить?

— С дочкой, — разглядывая детский сад во дворе, отвечаю я.

— А сколько ей?

— Три месяца.

— Как славно! Молодая семья! Поверьте, вы еще будете меня благодарить!

— За что?

— Как это за что?! Я же вам рассказывала! Вы такой рассеянный! На лестничной площадке всего одна соседка! Она — ни много ни мало — одинокая девяностооднолетняя старуш-

ка, страдающая болезнью Альцгеймера. Это же настоящий джекпот! Подружитесь, перепишете квартиру на себя.

— Спасибо! — не поднимая глаз, зачем-то отвечаю я.

Квартира пуста. Ни стула, ни кровати, ни стола. Я разбираю сумку. Прежняя владелица все никак не может уйти. Женщина стоит у окна и, гоняя по кругу воспоминания, словно утюжа белье, разглаживает маслянистые складки подоконника. Зря, я все равно здесь все поменяю.

— Вы сегодня один останетесь?

— Да.

— А спать-то где будете?

— У меня есть спальный мешок и электрический чайник...

— Если хотите — можете у меня.

— Нет.

Женщина капитулирует. Я слишком молод для нее. Взяв под локоть бывшую хозяйку, риелтор наконец покидает квартиру. Оставшись один, я сажусь на пол.

Вот и все, думаю я, занавес. Жизнь закончилась — жизнь начинается вновь. Трансцендентный ноль. К тридцати годам я оказываюсь человеком с разорванной надвое судьбой. Мне предлагается попробовать еще разок. Я не знаю, что тут можно возразить. Самоубийство — не мое; к тому же у меня теперь есть дочь.

Едва ли я вспомню, о чем думаю в тот вечер. В голове туман, в луче света вальсирует пыль. Больше здесь ничего

и нет. Часовая передышка перед очередной попыткой жить. Первая история закончилась, вторая должна начаться вот-вот. Пропасть и подвесной мост в виде человека. Если хочешь попасть на тот берег, перекинь сам себя. У счастья всегда есть прошлое, любит повторять моя мама, у всякого горя непременно найдется будущее.

Будто выброшенный крушением мореплаватель, я решаю изучить неизвестный остров. Город Минск. Зачем я вообще приехал сюда? Пускай и братская, но все же чужая страна. Красный костел и широкий проспект, какой-то лысеющий поэт и гроб Дворца Республики. Десятки построек и ни одного воспоминания. Незнакомые окна, чужие лица. Что это вообще за страна такая? Что я знаю про этот город? Ничего. Здесь у моей мамы вторая семья.

Перед подъездом валяется стопка выброшенных книг. Я смотрю на одну из них. Якуб Колас. «Новая земля».

Поднявшись на четвертый этаж, я обнаруживаю на входной двери красный крест. Небольшой, но яркий. Наверное, риелтор так пошутила, думаю я. Оставив у лифта пакеты, я принимаюсь оттирать крест, но в этот момент незнакомый голос за спиной говорит:

— Что вы делаете?!

— Очищаю дверь, — не поворачиваясь, отвечаю я.

— Зачем?

— Здесь какой-то кретин нарисовал крест.

— Приятно познакомиться! Кретин, о котором вы говорите, — я. Недавно мне поставили болезнь Альцгеймера. Пока страдает только короткая память — иногда я не пом-

ню, что случилось со мной несколько минут назад, но врач обещает, что совсем скоро испортится и речь. Я начну забывать слова, а затем потеряю способность двигаться. Так себе перспектива, правда? Кресты расставлены здесь затем, чтобы я находила дорогу домой. Впрочем, судя по всему, совсем скоро я забуду и то, что они обозначают.

— Мне жаль, — стараясь быть вежливым, отвечаю я.

— Бросьте! В моем случае только так все и могло закончиться!

— Почему?

— Потому что бог боится меня. Слишком много неудобных вопросов его ожидает.

Соседка опирается на трость и тяжело вздыхает. Я молчу. Меньше всего сейчас мне хочется говорить о боге. Пожелав старушке добрых снов, я беру пакеты с едой и собираюсь войти в квартиру.

— Вы что же, даже не представитесь?

— Александр, меня зовут Александр.

— И давно вы разговариваете с женщинами спиной?

— Простите. Меня зовут Саша, и вот мое лицо. До свиданья! — наигранно улыбнувшись, отвечаю я.

— Значит, то, как меня зовут, вас не интересует?

Нет. Не интересует. Черт, что же за назойливая старуха?! Чего она вообще хочет от меня?

Мне нужно попасть домой. Закрывать глаза и наконец проснуться. Предыдущие тридцать лет этот фокус сбрабаты-

вал. Все самое жуткое, самое страшное все — случилось со мной только во сне и никогда наяву. Я был счастлив и не знал скорби, весел был и не знал беды. Последние месяцы выдались слишком тяжелыми. Черт, я просто хочу отдохнуть!

— Меня зовут Татьяна... Татьяна... Татьяна... ох... забыла отчество... Шучу! Меня зовут Татьяна Алексеевна. Я очень рада знакомству с вами, плохо воспитанный молодой человек!

— А я нет.

— Правда?

— Неправда — мне просто все равно. Простите, у меня сегодня тяжелый день...

— Понимаю! У всех нас тяжелые дни. Тяжелые месяцы, тяжелые жизни...

— Очень приятно было с вами познакомиться, Татьяна Алексеевна. Всего вам самого хорошего! Счастья, удачи и всех жизненных благ, — язвлю я.

— Знаете, все это только начинается со мной...

Черт, это по-настоящему надоедает! Сперва риелтор, теперь эта старушка. Я не хочу говорить, и соседка, уверен, чувствует это. Более того, понимая, что я воспользуюсь даже секундным люфтом, старушка ни на мгновение не замолкает.

— Да, все это закончится довольно быстро... Через месяц или два... Совсем скоро от меня, как от человеческой судь-

бы, ничего не останется. Все дело в том, что бог подчищает следы.

— Мне очень жаль... — нехотя отвечаю я.

— Да-да, вы это уже говорили! Я быстро все забываю, но не настолько! Могу я посмотреть, как вы здесь устроились?

— Честно говоря, из мебели у меня только унитаз и холодильник — мне нечего вам показывать. Быть может, через неделю или две?

— Хотите посмотреть, как живу я?

— Да в общем-то сегодня уже, наверное, поздно...

— Не стесняйтесь, Саша, входите!

Нельзя сказать, что я счастлив, но просьбе старушки подчиняюсь. В конце концов глупо спорить с выжившим из ума человеком. Соседка толкает дверь, и я оказываюсь в ее квартире.

Все это больше напоминает мастерскую. Повсюду стоят полотна. Ничего особенного. Я такую живопись никогда не любил. Бесконечные бледные тона. Безысходность в каждом квадрате. Люди безлики, города бесцветны. Впрочем, я мало что смыслю в искусстве.

Посреди гостиной висит темно-серый квадрат.

— Собираетесь начать новую? — заполняя паузу, зачем-то спрашиваю я.

— Вы о чем?

— Я о холсте, что на стене.

— Нет, она закончена.

— Вот оно что! И что же на ней изображено?

— Моя жизнь.

Пфф. Приехали! Фанфары скорби и пафос трагедии. Пожилые люди склонны преувеличивать собственные несчастья. Моя жизнь... Дайте носовой платок! Нет-нет, лучше два! Старикам кажется, что беды случались только с ними. Я чуть было не выпаливаю, что по части горя многим могу дать фору, но вовремя осекаюсь.

— Мне, конечно, рассказывали, что Минск серый город, но не настолько же!

— В этой картине почти нет Минска.

— Я бы сказал, что в этой картине вообще ничего нет.

— Думаете, я ошибаюсь, когда говорю, что это моя жизнь?

— Ничего я не думаю...

— Думаете, вот шел я себе домой, никого не трогал, а тут на тебе: наткнулся на безумную старуху, которая собирается проскулить о собственной судьбе?!

— А вы собираетесь?

— А вам, значит, совсем неинтересно?

— Нет, если быть совсем уж честным.

— И зря. Я хочу рассказать вам невероятную историю. Не историю даже, но биографию страха. Я хочу рассказать вам, как внезапно овладевший человеком ужас способен изменить всю его жизнь.

— Я очень впечатлен, но, может быть, в другой раз?

— Не верите? Ну что ж... Знаете, чуть больше года назад я стояла здесь же, на вашем месте. Это было тридцать первого декабря. Шел снег и заканчивался двадцатый век. Естественно заканчивался, без гипербол, оставалось всего несколько часов. Куранты готовились бить двенадцать, накачанный таблетками президент соседнего государства намеревался сообщить, что устал. В кухне работал телевизор,

и в духовке, как обычно, что-то подгорало. Я ни к чему такому не готовилась — ну Новый год и Новый год, сколько таких было в моей жизни? Наберет Ядвига, а больше и некому. Посижу с пирогом, посмотрю «Огонек». Отмечу Новый год сперва по Москве, затем по Минску. Одним словом, я ровным счетом ничего не ожидала от конца столетия, но вдруг позвонили в дверь. Наверное, соседи, подумала я. До вас здесь жила очень хорошая и приветливая женщина — настоящая дочь коммуниста. Ее отец был партийной шестеркой, но она ничего — выросла скромной и порядочной. Вечно смотрела на меня щенячьими глазами, будто извинялась. В общем, я подумала, что она хочет попросить соль или что-нибудь в этом роде, но оказалось, нет! Оказалось, что пришел почтальон! Представляете? Настоящий! Тридцать первого числа! Принес! Письмо, которого я ждала всю вторую половину жизни...

Соседка говорит «вторую половину жизни», и я включаюсь. Впервые за вечер я возвращаюсь в комнату. До этого момента я лишь обозначал свое присутствие, теперь же начинаю внимательно слушать.

— Я посмотрела на стол. Лежит. Обыкновенный конверт. Ожидаешь его полвека, а раскрыть не решаешься. Ничего так в жизни не боялась, как этой бумаги. Наконец выдохнула и разорвала. Оно! Я расплакалась. Провела пальцем под глазами и шмыгнула носом. К листку больше не притронулась, но позвонила Ядвиге.

«Пришло! Жив!»

«Ты шутишь?!»

«Нет!»
«Далеко?»
«Километров двести от Перми».
«Я поеду с тобой!»
«Давай».

Я набрала справочную. Девушка веселая была, с праздником поздравила.

«Рейс до Москвы в десять вечера есть. Успеете?»
«Успею, коли не помру».

Когда приехала Ядвига, мы выпили чаю и вызвали такси. Оператор сообщила, что нам повезло — Новый год все-таки, у всех дела. «Покажи!» — попросила подруга, и я протянула ей письмо.

Закрыли квартиру, спустились во двор. Таксист стоял у машины. Багажник открыл, но с сумками не помог. «Я шофер, — ответил, — а не грузчик».

Приехали в аэропорт, нашли кассы. Запыхались, дышим тяжело. «Не волнуйтесь, — говорит девушка, — времени у вас много! Долетите до Москвы, а там придется несколько часов подождать».

«Ты когда последний раз летала?» — спросила я у Ядвиги.
«Никогда», — ответила подруга.

Вот тебе и дела. Новый год, две старухи летят незнамо куда...

До Москвы летели хорошо, а второй рейс самолет трясло, будто бог машину ногами пинал. С первого раза сесть не смогли, на второй круг уходили. Люди странно себя вели, помню, даже кричали. Передо мной мужчина какой-то, как пес, подвывал. Впрочем, я его не винила. Страх — он вещь непростая. Я уж знаю, о чем говорю.

Получили сумки — подошел толстяк:

«Вам куда?»

«Вот», — протянув конверт, ответила я.

«Так-то это не здесь. Так-то ехать три-четыре часа. Повезло вам — там мой батя живет».

«Нам бы только до автобуса...»

«Да какой тут автобик-то первого-то числа?»

Утром въехали в городок. Темень, на заснеженной площади мерзнет безрукий вождь. Я спросила: «Почему у Сталина такая маленькая голова?»

«Старую так-то отбили. Заказали в области новую, но они там что-то с размером напугали. На другую так-то все равно денег нет, да и не будет никто ее мастерить, пока эту не отобьют. Вы жить-то где будете?»

«Не знаем», — ответила я.

«Если не боитесь, можете у моего старика. Так-то он мужик неплохой. Тут-ка и сидел. Отпустили — не знал, куда деться, решил остаться, конвоиром устроился. Вот и я тут-ка и родился, за забором. Мать три года как схоронили. Я давно уже в город уехал, а у вас-то тут-ка кто?»

«Человек», — ответила я.

Соседка замолкает. Несколько секунд она безмолвствует, и я успеваю подумать, что стал свидетелем очередного провала памяти, но женщина вдруг оживает и говорит:

— Я родилась в Лондоне в 1910 году...

+

Алексей Алексеевич Белый был человеком добрым и воцерковленным. Он познакомился с мамой Татьяны Алексеевны в 1909 году в Париже, во время «Русских сезонов». Мать ее, Любовь Николаевна Краснова, была балериной и умерла родами. Воспитанием ребенка занялись две женщины: француженка, обучавшая ее слову божьему, и англичанка, следившая за ее осанкой.

Смерть жены резко переменяла Алексея Белого. Некогда человек радостный и доверчивый, в один день он разорвал связь с церковью и всю оставшуюся жизнь посвятил борьбе с невежеством. Во всяком случае, так ему казалось...

По словам соседки, Белый был невротиком. Буквально каждая мелочь выводила его из себя. Если утром какой-нибудь незнакомец желал ему хорошего дня, папенька тотчас расплывался в улыбке и часами рассуждал о высоте, которой достигло британское общество. Если же кто-нибудь, напротив, хамил ему, отец садился у камина и разглагольствовал о несовершенствах этого мира. Во время занятий Алексей Алексеевич часто заходил в детскую и, развалившись в кресле, перебивал гувернанток:

«Никакого бога решительно нет! Наша милая старушка слишком долго жила в допотопной России, единственным достижением которой стал пересмотр минимально необходимого количества пальцев для поклонения духам. Нет бога, дитя мое, как нет и души! Люди есть вид, вид точно такой же, как, скажем, лошади или собаки. Существует мнение, что мы более совершенны... Что ж, в некотором роде да — мы научились строить мосты, пароходы и omnibusы, но на этом наши успехи заканчиваются. Душа, о которой толкует наша трогательная няня, есть не что иное, как ловушка нашего мозга, неплохой капкан, но не более того. Нет никакого царствия небесного и жизни после смерти, ибо нет ничего вне нашей мысли. Голова есть не оружие наше, но наша главная проблема. Мы фатально ошибаемся, когда полагаем, что можем что-то понять. Перефразируя Декарта, я бы сказал, что человек существует, пока заблуждается. Твоя мама умерла в тот день, когда ты родилась, и больше никогда и нигде не появится. Нет ни воскрешения, ни какой-либо другой подобной чепухи. Есть лишь ересь и ложь. Мы должны мыслить себя как представителей вида, которого когда-то не было и которого однажды не станет. Каждую секунду, в протяженности, наш мозг обманывает нас. Подбрасывая надежду, мозг наш натурально издевается над нами. Собственно, именно это и есть наша отличительная черта, моя дорогая, — самообман».

В 1919 году Алексей Алексеевич Белый решил ехать в Россию. Он вошел в комнату и радостно объявил: «Мы уезжаем! Здесь, в Лондоне, живут старые люди. Новый человек,

человек, которым уже не смогу стать я, но которым, безусловно, станешь ты, моя дорогая, живет в России».

Озвучив это довольно странное суждение, Алексей Алексеевич сделал глоток виски и вышел вон. Вопрос с переездом был решен.

Для человека пьющего — Белый был чрезвычайно дельным. Планы непременно реализовывал, задачи решал. Переезжая в Россию, он намеренно не использовал глагол «возвращаться». Отец Татьяны Алексеевны настаивал, что они едут в абсолютно новую страну, аналогов которой не было в истории человечества. Что ж, в некоторой степени он оказался прав.

— Кажется, это было первое восстание, которое мне довелось наблюдать. Наши добрые нянечки наотрез отказались ехать.

«Вот же дуры! — с улыбкой произносил отец. — Неужели не понимаете вы, что теперь это ваша страна?! Как не понимаете вы, что в России произошла не смена власти, но революция духа! И Петроград, и Москва теперь есть города простого человека! Все там отныне устремлено исключительно на улучшение жизни такого вида, как вы, — вида человека обыкновенного!»

Человек обыкновенный... Папа часто повторял: человек обыкновенный. Неприступное словосочетание, правда? Человек обыкновенный... Кто он? Паразит, совершающий подлость, или безымянный герой, творящий подвиг? Человек обыкновенный... Сколько таких мне довелось повстречать? Судьба предложила несколько сотен вариантов, но вот только правильного ответа так и не дала. Порой мне казалось, что человек обыкновенный есть человек плохой, ибо вре-

менами только такие люди меня окружали. Мерзость была нормой их поведения, но стоило мне утвердиться в этом заблуждении, как рядом тотчас появлялись люди совершенно иные, люди особенные и чистые. Наверное, самым точным ответом могло бы стать утверждение, будто человек обыкновенный есть человек всякий, но со временем я отказалась и от него, ибо судьба одарила меня знакомством с несколькими совершенно необыкновенными людьми... Впрочем... Впрочем, все это словоблудие! Вы уж меня простите, Саша, я отвлеклась. Так о чем я вам рассказывала? Ах да, я рассказывала вам о нянечках. В общем, воспитательницы мои, может, и понимали, что Москва вдруг стала городом человека обыкновенного, но ехать в нее ни в коем случае не собирались. Потеряв всякую надежду, они использовали последний, как им казалось, вернейший аргумент:

«Алексей Алексеевич, ладно мы, ладно вы, но подумайте о Таточке! Неужели вы хотите сломить ее судьбу? Неужели не слышали вы об ужасах, что творятся в России? Не лучше ли вам съездить туда одному, а если все и окажется ровно так, как вы описываете, мы с Таточкой приедем к вам годом позже?»

«Нет! — строго ответил отец. — Мы выезжаем в ближайшее время!»

+

Переезд предприняли в начале 1920 года. Пока здравомыслящие люди бежали из страны, Белые двигались в обратном направлении, навстречу ветрам, в эпицентр истории. Новых и принципиально других людей они не увидели, зато в первый же день повстречали три духовых оркестра.

«Чему радуются эти марширующие? — удивлялись няни. — У них нет ни воды, ни газа, ни электричества! Все, чем они могут похвастаться, — выданные мундштуки, к которым примерзают губы!»

«Погодите, голубушки! — радостно отвечал отец. — Посмотрим, как вы заговорите через год!»

«Вы обещали, что мы приедем в страну, где простой человек счастлив, но пока мы слышим лишь про восстания!»

«Говорю же вам, дуры, через год!»

В Москве был голод. Впрочем, отца Татьяны Алексеевны это, кажется, нисколько не волновало. Какие-то люди постоянно помогали семье. Алексей Алексеевич не называл их имена, а в разговорах звучали лишь прозвища. Девочка

помнила два: Старик и Лукич. Чем именно занимался отец, она не понимала, но его частые командировки в Европу, судя по всему, стали делом государственной важности.

Вечерами, уложив девочку спать, нянечки шептались в соседней комнате.

«Господи, неужели Алексей Алексеевич ничего не видит? Как не понимает он, что этих людей не исправить и не спасти? Он постоянно говорит о новом человеке, но разве не видит он, что человека этого рождает мертвая земля! Эти красные, конечно, не удержат власть! Уверена, еще десятки лет здесь будет твориться не пойми что!»

«Не знаю, не знаю... — отвечала француженка. — Мне это уже не кажется глупым. Похоже, Алексей Алексеевич действительно проницательнее нас. Расстреляна царская семья — страна уже никогда не будет прежней. Думаю, красные не уйдут. Сложно поверить, что всего несколько лет назад Колчак гостил у нас в Лондоне, а теперь его кончают как собаку...»

«Еще сложнее поверить в то, что Алексей Алексеевич на стороне этих людей... Ох, не кончилось бы это бедой...»

В отличие от нянечек Тане в Москве сразу понравилось. Словно Алиса, она провалилась в сказочный сон.

«Провинция человечества...» — язвила француженка.

«Пригород здравого смысла...»

«Государство, не прошедшее обряд конфирмации...»

Пока нянечки упражнялись в остроумии, девочка с интересом изучала Москву. Столовые, боржом, закуски и воды.

Птенцы человечьи. Большеротые товарищи били в барабаны и размахивали красными полотнами. Нянечки закрывали уши, и, замерев на месте, маленькая Таня пыталась прочесть написанные белыми буквами слова: «Гордимся запуском станка». Вот это да! Таня смотрела на ребят, и ей так хотелось держать в руках такой же огромный алый флаг. Ну в самом деле, могло ли ребенку не понравиться в стране строящегося инфантилизма?

Каждый день отправлялись к газетному ларьку. Пока советские мужчины стояли в очереди за «Правдой», нянечки брали «Знамя», «Москву» и «Северное сияние». Совершив ежедневный ритуал, с горой макулатуры выдвигались на прогулку. Все это так увлекало! То и дело Таня застывала на месте, чтобы прочесть какое-нибудь новое слово.

«А что такое “Про-лет-культ”?»

«Не важно!» — в унисон ворчали старушки.

— Меня отдали в «четверку». Экспериментальная школа эстетического воспитания. Полуинтернат. Мы были заняты весь день. Общеобразовательные предметы до обеда, рисование, ритмика и лепка после. Отец был доволен, нянечки, кажется, тоже. Однажды вечером, когда кто-то из папиных друзей спросил, где я учусь, я с гордостью ответила, что в школе для детей одаренных родителей. Довольно точная оговорка. Собственно, так оно и было. Кого угодно сюда не принимали. Здесь учились наследники верхушки. От фамилий наших родителей граждане новой страны теряли сознание, но нам-то было что? Дети есть дети...

Пока Таня лепила квадраты, ее отец, Алексей Алексеевич Белый, не вылезал из Европы. В 1924 году он был вынужден вновь переехать, на этот раз в Швейцарию. Белый курсировал между Женевой и Берлином, а Таня, несмотря на выводок новых репетиторов, была предоставлена сама себе. Берн, Лозанна, Цюрих. Замки, горы, города. Вместе с новыми воспитателями она путешествовала по Швейцарии и даже думать не могла, что однажды вернется в Москву.

Весну 1929 года Татьяна провела одна. Папа оставался преимущественно в Цюрихе, а она не вылезала из Тичино — итальянского региона Швейцарии. Беллинцона, Локарно, Кьяссо. Она брала с собой листы, мелки и едва ли не каждый день отправлялась рисовать в какой-нибудь новый городок. Однажды — теперь ей почему-то казалось, что это было в воскресенье — Татьяна заехала в Порлеццу, маленькую итальянскую деревушку на границе со Швейцарией. Десяток каменных домов, полторы церкви. Все как полагается: вино, платаны, колокольный звон. Она рисовала на набережной, когда подошел красивый парень. Высокий, смуглый и черноволосый. Он предложил прогуляться, и Татьяна Алексеевна подумала: а почему бы и нет? Шутки, история деревни, разговор о новом человеке. Ничего особенного — пустая, но милая болтовня. Она рассказывала ему о России, а он говорил, что никогда не был даже в Милане. Они проболтали весь день, и, поняв, что пароход в Лугано упущен, Татьяна решила остаться в маленьком альберго на крохотной виа Сан-Микеле.

Следующим утром был завтрак. Кофе и невероятные булочки, за которые можно было отдать душу дьяволу. Он

смотрел ей прямо в переносицу, и, смущаясь, она опускала глаза. В тот день они взяли в ресторанчике засохший хлеб и отправились кормить выбравшихся на травку лебедей. Она смотрела на озеро и старалась запомнить его на всю жизнь — ей казалось, что лучше уже ничего не будет. Вечером, когда в темном небе закружили летучие мыши, она даже не испугалась — здесь было так спокойно.

Пролетело несколько дней. Влюбленные забирались в горы и ловили рыбу, ныряли с утесов и целовались. Татьяна поняла, что итальянец станет ее первым мужчиной, но, к сожалению, в вечер, когда это должно было произойти, случилось страшное — Татьяна Алексеевна Белая чихнула...

— На песок, прямо к нашим ногам, упала слизь. Говоря русским языком, из меня вылетели сопли, большущий зеленый сгусток. Мне было так стыдно! Я хотела убежать, но от позора стояла словно окаменевшая. Можно ли вообразить себе ситуацию страшнее? Вы только представьте себе: девушка, влюблена, и сопли... жаж!

Ромео постарался быть джентльменом. Наступив на слизь, он принялся втирать ее в песок, но от этого стало еще хуже. Теперь сопли были и на земле, и на его подошве. Ромео улыбнулся, попытался пошутить, спросил что-то про то, как это будет по-русски, но Татьяна разрыдалась. Никогда раньше она так не ревела. Ромео решил обнять ее, но девушка оттолкнула его и побежала в сторону гостиницы.

Несколько дней Татьяна Алексеевна проплакала в своем номере. Ромео стоял под балконом, но Джульетта не открывала ставни. У Джульетты был насморк, позор на роду и температура 39. К ней приходил доктор, и, глядя на пи-

люли в его красивом кожаном чемоданчике, несчастная думала, что хочет выпить их все. Вслед за доктором стучался портье. Незнакомый, но сочувствующий итальянец просил выпустить уже наконец этого несчастного Ромео. В соседний номер заселилась русская семья. Белые эмигранты, часами рассуждавшие о роли великой литературы. Денег на эти занятия в Швейцарии у них больше не было, а потому о долге русской словесности чесали в итальянской деревушке. Татьяна Алексеевна сидела, прижавшись к тонкой стене, вытирала текущий нос и слушала, что задача русских писателей состоит (прежде всего!) в демонстрации возможностей и многообразия великого языка. Перед ее глазами Ромео размазывал по песку сопли, и женщина за перегородкой продолжала твердить, что писатель обязан, сохраняя традиции, говорить широко и сильно. «У нас не осталось большой книги! — констатировала женщина за стеной. — Романы, за исключением папиного, бесцветны и чрезвычайно просты. Мы живем в фантастически неурожайные времена! За последние годы, не считая, повторюсь, папиной книги, мы получили, быть может, один-два хороших текста, два-три неплохих и пяток пристойных».

Ромео размазывал сопли по песку, и русская литература чахла. Ромео втирал сгусток слизи в итальянскую землю, и великая русская литература слабела. Туда-сюда, словно танцор, Ромео водил ногой, и Таня понимала, что несчастна и влюблена.

— В ночь перед отъездом мой любимый забрался в окно. Я закричала с такой силой, что он успел лишь бросить письмо и выпрыгнул обратно... Из записки следовало, что он будет ждать меня всю жизнь, ждать не в Вероне, но здесь, на

озере Лугано, в маленьком итальянском городке Порлецца.
«Хорошо, проверим», — подумала я.

— Ну вы ведь поправились?

— Что?

— Я говорю, вы поправились? Сопли-то прошли?

— Ах, сопли... Нет, не прошли. Я не выздоровела, но уехала. Папа прислал за мной помощника, и по дороге в Цюрих я узнала, что отец болен. «Состояние не критическое, но доктора на всякий случай советуют ему вернуться в Москву».

«На какой такой случай?» — спросила я.

«Вы сами все увидите», — ответил водитель...

Отец умирал. Воспаление легких, обернувшееся семейной трагедией. Хотя никто об этом не говорил, но все понимали, что едут в Москву хоронить Алексея Алексеевича. За несколько недель до смерти благодаря своим знакомствам он сумел устроить дочь в Университет. Так осенью 1929-го случилось второе и роковое путешествие в Москву.

+

В конце первого курса к Татьяне Алексеевне подошел безликий человек. Мужчина отвел ее в сторону и спросил:

«На скольких языках вы изъясняетесь?»

«Кто вы?»

«Отвечайте!»

«На французском, итальянском, английском, немецком и русском».

«На всех говорите без акцента?»

«Только на советском», — с язвительной улыбкой ответила девушка.

— Незнакомец взял меня под руку и объяснил, что бояться нечего. Во-первых, отец мой был человеком надежным, во-вторых, мне представляется возможность послужить делу Великого Октября.

Татьяна Алексеевна не боялась. Во всяком случае, тогда. Она мало что понимала, а потому, когда тот человек начал вербовку, ни в коем случае не робела.

«Сами работайте на свой дождливый месяц!» — высвободившись из его объятий, фыркнула я. Он снисходительно улыбнулся и пошел за мной по коридору. Спустя несколько минут человек из органов предложил мне пройти курсы стенографии и машинописи. Вот это уже было интересно!

«Зачем?» — спросила я. Он объяснил. Его аргументы показались мне убедительными, и я согласилась. Вот так, год спустя после переезда в Москву, я вдруг стала корреспондент-машинисткой в НКВДе.

— Что такое НКВД?

— Народный комиссариат иностранных дел, теперешний МИД. Удивительное место! В первое время мне, кажется, даже нравилось. Интересные люди, увлекательная работа. Другой мир! Ничего общего с тем, что я наблюдала на улице. Уехать в Европу я больше не могла, зато появилась возможность быть чуточку ближе к дому.

Со временем ей стали доверять. Каждый день через ее руки проходили десятки документов. Шифровки, донесения, обращения иностранных граждан. Письма зарубежных коммунистов, переводы и воззвания. Она любила повторять, что в кабинете стоит вечная осень, потому что листья то и дело падали на ее стол.

— У меня появился друг! Да-да, самый настоящий! Пашка Азаров. Младше меня всего на год. Юный, образованный и веселый. Как и я, он родился за границей, правда, не в Лондоне, а в Генуе. Пашка как-то сказал, что у нас много общего, ведь именно генуэзцы подарили англичанам флаг с красным крестом. Мы были моложе большинства сотрудников, к тому же имели похожие воспоминания. Милан, Верона, озеро Гарда. Самые удивительные места хранились

в нашем совместном архиве памяти. Я работала с документами, Паша был помощником наркома. Он нравился мне, но я понимала, что между нами ничего не может быть — мы дружили, как мальчишки.

НКВД в то время располагался на Кузнецком Мосту. Во время обедов друзья часто сидели в маленьком сквере напротив. Вокруг колесили английские автобусы «Лейланд», и, разглядывая их, Татьяна Алексеевна представляла, что возвращается в Лондон.

— У нас даже была такая игра: мы закрывали глаза и приглашали друг друга в родные города. Азаров водил меня по Генуе, а я гуляла с ним по Тайт-стрит, где когда-то жили Марк Твен и Оскар Уайльд, по Тайт-стрит, где когда-то стоял мой дом.

Соседка вновь повторяет слово «дом», и я отвлекаюсь. Поразительно, как привычные, затертые звуки могут вдруг обрести новый смысл. Отныне, произнося это слово, я буду подразумевать новую точку и другой город. Дом прошлый и дом возникающий, дом детства и дом тишины. Глядя на пакеты с едой, я думаю, что нужно позвонить маме и узнать, как там дочь.

— Вы дважды взглянули на часы, Саша. Вам совсем неинтересно?

— Нет-нет! Наверное, даже интересно... Просто знаете, у меня сейчас не самые веселые времена. Переезд, другая страна. Чувствую себя немного растерянным.

— Почему вы перебрались сюда?

— Подумал, что так будет лучше для дочери.

— Красивая она у вас?

— Не знаю, пока сложно сказать.

— Я всегда была некрасивым ребенком. С другими случаются трансформации, когда в восемь ты еще чертенок, а в десять уже вроде и ничего, но это не моя история. Подобно Советскому Союзу, в безобразии своем я была стабильна. Кажется, мне было лет двенадцать, когда папа зачем-то сказал: «Не расстраивайся, зато ты у нас умная!»

Воистину, мужчины — бесчувственные существа! Если бы кто-нибудь взял на себя труд объяснить им, что одна такая фраза способна травмировать девочку на всю жизнь! Впредь я всегда стеснялась себя. Впрочем, вряд ли это интересовало моего отца — он строил новый и совершенный мир. И пока папа пытался наладить отношения с Западом, я спрашивала у нянечек, почему он не любит меня. Тетушки не отвечали, но лишь гладили меня по голове. Папа же не сдавался! Уже в Москве, перед самой смертью, он вернулся к этому разговору:

«На самом деле ты у меня очень красивая! Просто должен появиться человек, который сумеет разглядеть твою красоту».

Отец мой мог бы на этом и закончить, но для чего-то продолжил:

«Ты как конструктивистское здание!»

Да-да, представляете, он так и сказал:

«Ты, моя милая, как конструктивистский дом. Сейчас еще не все понимают твоей красоты, но, поверь мне, пройдут годы, и тобой будут восхищаться!»

Странно, что о функциональности моей он ничего не сказал. Самое смешное, что папенька оказался прав — моим

мужем стал архитектор. Папин тезка, Леша. Муж часто повторял, что влюбился в меня с первого взгляда, что тогда, впервые увидев меня в сквере против НКВД, не смог оторвать глаз. Глупость какая, но что ж...

Они познакомились летом 34-го. Время медленного фокстрота и подступающей жары. К этому моменту в ее жизни проскользнули несколько мужчин, но следа не оставили. Каких-либо иллюзий на собственный счет у Татьяны никогда не было.

— Как там говорили? Третий сорт еще не брак? Вот это про меня. Я понимала, что со мной остаются не от хорошей жизни. В общем, когда Леша подсел ко мне знакомиться, я вдруг подумала, что он шпион. Нет-нет, я серьезно! К тому времени я уже почти пять лет жила в Москве, работала в НКВДе и по части страха успела поднатореть. Когда незнакомец заговорил со мной, я решила, что он иностранный агент. Все это выглядело так странно. Я сижу себе, уродина, и вдруг на тебе — такой красавец и знакомится со мной.

Несколько первых дней она не разговаривала с ним. Натурально. Думала, проверяют. Леша здорово шутил, но Татьяна даже не улыбалась.

— Помню, как я спросила у Пашки Азарова, считает ли он возможным, что кто-нибудь влюбится в меня? Глупый вопрос, я знаю. К тому же не совсем корректный. Так или иначе, Пашка похлопал меня по плечу и спросил:

«Какой он?»

«Красивый, интеллигентный, похож на шведа».

«Может, действительно шпион?»

«Не знаю, но в меня уже, кажется, проник...»

«То есть вы уже того?»

«Дурак ты, Азаров!»

Алексей был терпелив. Он стойко переносил все странности Татьяны. Она же по-прежнему относилась к нему как к лазутчику. Более того, с каждым днем подозрения Татьяны Алексеевны только усиливались! Она не сдавалась, а он не отступал.

— Ну кто бы стал тратить столько времени на дурнушку вроде меня? Москва кишела красотками, а он прилип ко мне будто банный лист. Может, знал, что я жила на Западе? Может, хотел уехать?

Каждый вечер, стоя перед зеркалом, она перебирала платья и причины, основания и сережки. Со страхом она пыталась угадать, когда же он исчезнет, но Лешка не уходил.

— Я была готова поверить во что угодно, но только не в любовь. Кажется, я рассказывала вам, что с детства любила рисовать. И вот представьте себе, однажды Леша пришел на свидание с мольбертом!

«Это еще что?» — спросила я.

«Это тебе».

«Зачем?»

«Я видел, как во время обеда ты рисовала на листке».

«Ты следишь за мной?»

«Глупая, я всего-навсего часто бываю здесь... по делам».

«По каким таким делам?»

«Придет время — расскажу. Пойдем, я тебя провожу».

Сама не знаю почему, но я согласилась. Он так нелепо выглядел с этим мольбертом.

«Я еще и краски тебе купил, и кисточки».

«С чего ты взял, что я приму их?»

«Не примешь — подарю другому».

«Или другой?»

Он обогнал ее и остановился. Стал против и улыбнулся. В одной руке сумка, в другой мольберт. Она смотрела на него и понимала, что уже любит, что всю жизнь будет любить.

— Мне бы радоваться, кикиморе, а я все строю из себя принцессу-недотрогу.

«Что ты там хотел рассказать мне о своих делах?»

«Хотел рассказать, что часто бываю здесь по делам “Помполита”».

— Что такое «Помполит»? — спрашиваю я.

— Помощь политическим заключенным, — отвечает соседка. — До 22-го года они назывались «Московский комитет Политического Красного Креста». Сейчас в это сложно поверить, но в Советском Союзе было и такое. Де-юре Ежов закрыл их только в 38-м. Леша не был сотрудником «Помполита», но помогал в сборе средств осужденным. Искал деньги на поэтических и музыкальных вечерах.

— А это было не опасно?

— Не опаснее, чем строить переправы. В 36-м году мост, который проектировало Лешино бюро, обвалился. Всех рабочих и архитекторов отправили в лагеря. Алексея спасло

только то, что за месяц до этого его перевели на другой объект. Обыкновенное везение. Перевели бы, скажем, за неделю — не помогло бы. Возможно, если бы тогда Лешу арестовали, все бы сложилось иначе, но...

— Что «но»?

— Но говорю же вам — его не арестовали. Такие были годы — годы Большого террора, а следовательно, и большого везения.

Долгое время, особенно в силу деятельности Алеши, они полагали, будто кое-кому еще можно помочь. К 37-му году этих надежд не осталось.

В связи с давлением на наркома Литвинова чистки начались и в НКВДе. Безусловно, они были и раньше, но массовый характер приобрели лишь в 37-м. Азаров, у которого Таня и Алексей часто бывали в гостях, жил всего в нескольких шагах от работы — Кузнецкий Мост, дом № 5. В 37-м его подъезд был наполовину опечатан.

— Я никогда не забуду забитые конвертами почтовые ящики. Кому присылали эти письма? Кто бы стал их читать?

Поднимаясь по лестнице, я считала опломбированные двери. Одна, вторая, третья. В тот вечер, сидя в Пашиной гостиной, я шепнула Лешке: «Смотри, мы будто бы оказались в настоящем склепе в самом центре Москвы...»

В восьмидесятые я узнала, что к 1939 году в одном только пятом доме по улице Кузнецкий Мост было расстреляно семнадцать человек... включая самого Пашу.

— Почему не арестовали вас?

— А?

— Вы говорили, что у вас Альцгеймер, а не глухота. Я спросил, почему они не арестовали вас?

— Хороший вопрос! Что было в головах этих людей?! Не захотели? Не успели? Не смогли? Во-первых, в 37-м я была в декрете (когда Леша избежал ареста, мы решили завести ребенка), во-вторых... во-вторых, именно об этом я и хотела вам рассказать...

+

Кровать — вот то редкое место, где счастливый советский человек иногда и без страха (если человек этот жил в своей собственной, а не коммунальной квартире) мог спокойно поговорить с близким. Натянув на голову одеяло, Лешка шептал, подражая акценту товарища Сталина: «Все здесь должно стать новым! Новый человек, преисполненный новым героизмом, будет совершать новые подвиги ради новых дней, новой музыки и новой литературы. Новые законы, новые чувства и новые порядки нужны нам для того только, чтобы новое поколение советских людей смогло беспрепятственно вступить в новую эру и начать производить совершенно новое, доселе невиданное и исключительное по своему качеству и сорту дерьмо!»

Они хихикали, целовались и в миг этот заблуждались, будто все еще может обойтись...

— Вы не поверите, но Москва мне нравилась. Время было страшное, но я почему-то считала, что ситуация вот-вот изменится.

«Ты неисправимая оптимистка!» — целуя ее в лоб, часто повторял муж. А что? А почему бы и нет? Разве мы чувству-

ем времена? Разве кто-нибудь представляет себе полную картину мира? Оптимистка? Да! Она была счастлива! У нее родилась дочь и был великолепный муж. О чем еще можно было мечтать? Девочка смеялась всякий раз, когда видела отца, и Татьяна понимала, что Леша — мужчина всей ее жизни. Он был веселым, но скромным, отзывчивым и спокойным. Ей нравилось, что он всегда действует и, если только есть такая возможность, — непременно молчит.

— Лешка был представителем того редкого вида, который понимает, что любовь — это прежде всего не определение, но действие. Человек поступка. Он не говорил, но делал ровно столько, чтоб я ни на минуту не забывала, что любима. Впрочем, я опять забрела не туда... Вы, кажется, спросили, почему они не арестовали меня?

Первое время они полагали, что лично ее спасает новая фамилия — Павкова. Им казалось, что забирают только инородцев: поляков, немцев и евреев. Совсем скоро теория развалилась. Из 29-й квартиры увезли русскую Машу Гаврину, из 31-й — Петра Андреевича Хрисанова. Национальность и род занятий больше не имели значения. На работу не приходили шоферы и референты, дипломаты и обыкновенные курьеры.

— Я полагаю, что, с одной стороны, следователи опирались на материалы допросов, с другой — понимали, что, посадив всех, парализуют работу целого министерства. Одним словом — не знаю. Думаю, что до меня просто не дошло. Такое бывает. Машина работает, работает, а потом бац — новая задача. Важно понимать, что главной причиной арестов была не борьба с врагами народа, а заговоры. Лес рубят — щепки летят. Выходит, в тот год кто-то просто ударил чуть выше меня.

Так или иначе, через несколько месяцев после родов Татьяна Алексеевна вернулась на работу. О, теперь это было совсем другое место! Чекисты знатно потрудились. Большинство ее новых коллег вообще не имели опыта дипломатической работы.

«Где их только понабрали?» — думала она. Ей приходилось объяснять новым сотрудникам элементарные вещи. Из-за постоянных чисток представительства в Болгарии, Испании и многих других странах остались без руководства.

— Вы даже не представляете, какой хаос творился в комиссариате! Впрочем, даже этого Сталину показалось мало. Наркома Литвинова сняли 3 мая 39-го. Пашку арестовали следующим же утром. Во время одной из наших последних встреч мы сидели в его гостиной, и когда я предложила включить радиолу, Паша вдруг отказался.

«Ребята, — тихо сказал он, — мне кажется, что теперь я живу в этом доме совершенно один...»

«Ну тем более! — с улыбкой сказал Лешка. — Чего нам тогда волноваться? Аське твоя музыка не мешает, соседи тоже жаловаться не станут...»

«Именно поэтому давайте и не будем включать...»

Думаю, Паша предчувствовал арест. Место рождения? Город Генуя. Ясно. Красный крест против вашей судьбы.

В тот вечер Павлик подарил нам номер «Мурзилки». Возвратившись домой, сев у кровати, Леша прочел Аське стихотворение Агнии Барто:

Возле Каменного моста,
Где течет Москва-река,
Возле Каменного моста
Стала улица узка.

Там на улице заторы,
Там волнуются шоферы.
— Ох, — вздыхает постовой, —
Дом мешает угловой!

Сема долго не был дома —
Отдыхал в Артеке Сема,
А потом он сел в вагон,
И в Москву вернулся он.

Вот знакомый поворот —
Но ни дома, ни ворот!
И стоит в испуге Сема
И глаза руками трет.

Дом стоял
На этом месте!
Он пропал
С жильцами вместе!

— Где четвертый номер дома?
Он был виден за версту! —
Говорит тревожно Сема
Постовому на мосту. —

Возвратился я из Крыма,
Мне домой необходимо!
Где высокий серый дом?
У меня там мама в нем!

Постовой ответил Семе:
— Вы мешали на пути,
Вас решили в вашем доме
В переулок отвезти.

Поищите за углом —
И найдете этот дом.
Сема шепчет со слезами:
— Может, я сошел с ума?

Вы мне, кажется, сказали,
Будто движутся дома?
Сема бросился к соседям,
А соседи говорят:

— Мы все время, Сема, едем,
Едем десять дней подряд.
Тихо едут стены эти,
И не бьются зеркала,

Едут вазочки в буфете,
Лампа в комнате цела.
— Ой, — обрадовался Сема, —
Значит, можно ехать
Дома?

Ну, тогда в деревню летом
Мы поедем в доме этом!

В гости к нам придет сосед:
«Ах!» — а дома... дома нет.

Я не выучу урока,
Я скажу учителям:
— Все учебники далеко:
Дом гуляет по полям.

Вместе с нами за дровами
Дом поедет прямо в лес.
Мы гулять — и дом за нами,
Мы домой — а дом... исчез.

Дом уехал в Ленинград
На Октябрьский парад
Завтра утром, на рассвете,
Дом вернется, говорят.

Дом сказал перед уходом:
«Подождите перед входом,
Не бегите вслед за мной —
Я сегодня выходной».

— Нет, — решил сердито Сема,
Дом не должен бегать сам!
Человек — хозяин дома,
Все вокруг послушно нам.

Захотим — и в море синем,
В синем небе поплывем!
Захотим —
И дом подвинем,
Если нам мешает дом!

Барто, конечно, описывала перенос дома по улице Серафимовича, а не тысячи задержаний, но слез моих это остановить не могло. Знаете, Саша, я иногда думаю, что если бы в тот вечер мы нанесли на карту Москвы точки с местами арестов — город этот напоминал бы решето...

Я смотрю в окно: небо темнеет. Повернувшись к картинам, словно перебирая карточки в библиотеке памяти, Татьяна Алексеевна расставляет холсты.

— Вот, я хочу вам кое-что показать... — она берет одну из картин и поднимает ее перед собой. Диагональю землю разрезает ночной поезд. Черно-синие цвета. Вагоны не пассажирские, а грузовые. Здесь тени и мгла. Желтый огонек освещает лишь лобовое стекло машиниста. Локомотив крохотный и тонкий — полотно большое. Я ожидаю, что соседка расскажет об этой картине, но Татьяна Алексеевна вдруг отставляет холст и, кивнув самой себе, подходит к столику. Вытащив из бумажного пакета пластинку, она включает проигрыватель.

— Теперь я и не вспомню, когда впервые услышала ее. Как-то вечером Леша пригласил меня в филармонию. Он должен был с кем-то встретиться по делам «Помполита» и решил взять меня с собой. Я замерла с первых же аккор-

дов. Пятая симфония... Чайковский... Мне кажется, что вещь эта способна заменить любой учебник. Вся история страны в одном произведении. Если какой-то инструмент и подобен голосу этой земли, то, конечно, открывающий симфонию кларнет. Всякий раз, слушая первую часть, я воображаю, будто Чайковский написал именно обо мне. Тревожное вступление, слабые проблески надежды и торжество смерти, модернизирующее в бесполезную весну. Прелюдия набата, минор драмы. Осторожные шаги маленькой судьбы в беспросветной тьме. Думаю, сам того не понимая, Чайковский написал гимн неизбежности и приближающейся беды. Через несколько минут вы, конечно, заметите, что у Чайковского мажорный финал, у Чайковского есть свет и есть надежда... может, и так... может, для кого-то и есть, но только не для меня. Моя история закончилась уже в первой части...

— Могу я задать вам один вопрос?

— Конечно. Я сделаю вам чай?

— Нет-нет, я действительно скоро пойду, мне завтра рано вставать — привезут мебель и кухню...

— Так черный или зеленый?

— Ладно... черный, если можно...

— Что вы хотели спросить?

— Мне всегда было интересно: люди, которые занимают такие должности, вроде вашей, сотрудники, которые работают в министерстве... Вы ведь уже тогда все знали, да?

— Что вы имеете в виду? — копошась в ящиках, из кухни спрашивает соседка.

— Я про войну. Вы ведь знали, что начнется война?

— С Германией?

— Да.

— До сентября 39-го такая вероятность действительно была, но после пакта Молотова — Риббентропа мы как минимум начали приятельствовать. Сталин, в ответ на поздравления с днем рождения, написал о «дружбе, скрепленной кровью». Я была уверена, что войны не будет.

— Это еще почему?

— Во-первых, у Германии еще не было такой возможности, во-вторых, я, например, лично рассылала по нашим представительствам в Европе список книг, которые следует выбросить. Все эти экземпляры изымались только потому, что в них плохо говорилось о нацистской партии и Гитлере. Я же отсылала данные немецких коммунистов, которых мы выдаем Германии. Неплохо, да? Советский Союз высылает коммунистов на растерзание фашистам! Не помню, говорила ли я вам, что НКВД в то время располагался на Кузнецком Мосту...

— Говорили.

— Так вот, на первом этаже нашего здания ютились типография и небольшой книжный магазин. Книги, в которых нелицеприятно описывался фюрер, вывезли и оттуда, то есть из самого центра Москвы. В ноябре 39-го я сидела за своим рабочим столом и перепечатывала выступление Молотова. Там были совершенно потрясающие вещи:

ИДЕОЛОГИЮ ГИТЛЕРИЗМА, КАК И ВСЯКУЮ ДРУГУЮ ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, МОЖНО ПРИЗНАВАТЬ ИЛИ ОТРИЦАТЬ, ЭТО — ДЕЛО ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ. НО ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК ПОЙМЕТ, ЧТО ИДЕОЛОГИЮ НЕЛЬЗЯ УНИЧТОЖИТЬ СИЛОЙ, НЕЛЬЗЯ ПОКОНЧИТЬ С НЕЮ ВОЙНОЙ. ПОЭТОМУ НЕ ТОЛЬКО БЕССМЫСЛЕННО, НО И ПРЕСТУПНО ВЕСТИ ТАКУЮ ВОЙНУ, КАК ВОЙНА ЗА «УНИЧТОЖЕНИЕ ГИТЛЕРИЗМА», ПРИКРЫВАЕМАЯ ФАЛЬШИВЫМ ФЛАГОМ БОРЬБЫ ЗА «ДЕМОКРАТИЮ».

Прелесть, правда? Преступно воевать с фашизмом! Наши дипломаты хорошо усвоили этот урок и, когда немецкая армия вошла в Париж, вышли поприветствовать фашистские войска. Более того, с послом во Франции случилась совсем уж абсурдная история. После того как французы объявили Сурица персоной нонграта, парижское представительство возглавил поверенный в делах Николай Николаевич Иванов. Он был человеком прямым, настоящим коммунистом и антифашистом. Когда речь заходила о Гитлере, Иванов не стеснялся в выражениях, за что и поплатился. Прознав о том, что официальное лицо во Франции позволяет себе лишнее, Москва отозвала своего дипломата и тотчас арестовала. Иванова осудили на пять лет за «антигерманские настроения». А знаете когда? В сентябре 1941-го! Фашисты стояли под Москвой, а мы сажали своих дипломатов, потому что они плохо говорили о Гитлере.

— Бред какой-то... Значит, у вас не было ощущения наступающей катастрофы?

— Катастрофы? Разве люди способны распознавать беду? У меня подрастала Аська, был чудесный муж. Вторая мировая война? Мы заблуждались, полагая, что после ужасов Первой ничего подобного повториться не может. Нам действительно постоянно внушали, что мы находимся в кольце врагов: Польша, Финляндия, Япония, — но я чувствовала, что настоящая опасность кроется здесь, в Москве. Когда фотографию Паши Азарова снимали с доски почета, я понимала, что угрозу для меня представляют органы НКВД, а не какие-то там немцы. В 41-м, одно за другим, мы стали получать сообщения о возможном вторжении со стороны Германии, однако со временем этих донесений стало так много,

что мы перестали обращать на них должное внимание. Я хорошо помню 22 июня. В тот день у меня была ночная смена. Нам позвонили из немецкого посольства и запросили срочную встречу с Молотовым. Он в это время был у Сталина, поэтому мы связались с Кремлем, согласовали визит и перезвонили немцам. Спустя несколько часов после начала бомбардировок посол Германии Шуленбург встретился с Молотовым в Кремле.

— И вы знали, о чем они говорили?

— Конечно! Уже следующим утром Гостев, референт Молотова, все пересказал нам.

— И что он вам рассказал?

— Ничего особенного. По его словам, Шуленбург извинялся, говорил, что сам ничего не знал, что долгие годы старался наладить сотрудничество между двумя странами. Затем он зачитал Молотову теперь уже знаменитую ноту:

«Ввиду нетерпимой далее угрозы, создавшейся для германской восточной границы вследствие массивированной концентрации и подготовки всех вооруженных сил Красной Армии германское правительство считает себя вынужденным немедленно принять военные контрмеры».

Молотов растерянно спросил:

«И что, по-вашему, означают эти слова?»

«По-моему, это война», — ответил Шуленбург.

Гостев рассказал, что после этого Молотов попытался оправдаться. Сказал, что никакой концентрации войск Красной Армии на границе с Германией не производилось. Проходили обычные маневры, которые проводятся каждый год. Молотов был совершенно ошарашен и говорил, что не очень понимает, в чем же проблема, ведь германское пра-

вительство никогда не предъявляло никаких претензий. На это Шуленбург ответил, что больше ничего добавить не может.

— И все?! Так просто?! Они собирались перебить половину Европы, и на этом разговор окончился?

— А что тут говорить? Но разговор на этом, конечно, не кончился. Впрочем, дальше обсуждали лишь технические вопросы. У Шуленбурга не было инструкций по поводу эвакуации посольства и представителей различных немецких фирм, поэтому он попросил советские власти содействовать в спасении немецких граждан. Шуленбург объяснил, что, так как Румыния и Финляндия должны выступить вместе с Германией, вывоз немецких граждан через западные границы невозможен. В связи с этим посол Германии предложил сделать это через Иран. Молотов согласился и высказал надежду, что советские учреждения в Германии, в свою очередь, не встретят сопротивления со стороны германского правительства. На том и разошлись. А, нет, кажется, в конце встречи Молотов еще раз спросил: «Для чего же Германия заключала пакт о ненападении, если так легко его порвала?»

— И что на это ответил Шуленбург?

— Шуленбург ответил, что против судьбы не пойдешь...

+

23 июня 1941 года Татьяна Алексеевна не ушла с работы. Выслушав Гостева, она вернулась за стол и принялась набирать только что переведенную с французского телеграмму Красного Креста:

**Из ЖЕНЕВЫ 23 июня 1941 г.
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
МОСКВА**

Международный Комитет Красного Креста, стремясь выполнить посильно свою гуманитарную задачу, предоставляет себя в распоряжение Правительства СССР на тот любой случай, когда его посредничество в соответствии с принципами Красного Креста было бы полезным, особенно для того, чтобы собирать и передавать сведения относительно раненых и пленных, согласно системе, действующей в настоящее время при помощи Центрального Агентства по делам пленных в отношении всех воюющих держав.

Международный Комитет Красного Креста предлагает Вам следующие мероприятия: Правительство СССР распорядится о со-

СТАВЛЕНИИ СПИСКОВ ЗДОРОВЫХ И РАНЕНЫХ ПЛЕННЫХ С УКАЗАНИЕМ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ, ВОЕННОГО ЗВАНИЯ, ДАТЫ РОЖДЕНИЯ, МЕСТА ВЗЯТИЯ В ПЛЕН, СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И, ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, МЕСТА РОЖДЕНИЯ И ИМЕНИ ОТЦА. ТЕ ЖЕ СВЕДЕНИЯ БУДУТ ДАНЫ ОБ УМЕРШИХ. ВСЕ ЭТИ СВЕДЕНИЯ БЫЛИ БЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ:

- 1) БЫТЬ ПЕРЕДАНЫМИ ВРАЖДУЮЩИМ СТОРОНАМ;
- 2) ОПОВЕЩАТЬ СЕМЬИ, КОТОРЫЕ ОБРАТЯТСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА ЗА СВЕДЕНИЯМИ.

Для ускорения передачи всех собранных сведений рассматривается вопрос об организации филиала в местности, наиболее подходящей по своему географическому положению. Подобное сообщение делаем правительствам германскому, финляндскому и румынскому.

Полагаем, что неучастие СССР в Женевской конвенции 1929 г. об обращении с военнопленными не должно препятствовать к реализации сформулированных выше предложений в том случае, если они будут приняты обеими сторонами, участвующими в конфликте.

В ожидании ответа от Вашего Превосходительства мы шлем уверения в нашем весьма высоком уважении.

МАКС ГУБЕР

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА

В первые дни войны у нее не было ощущения катастрофы. Татьяна искренне полагала, что конфликт вот-вот закончится. Когда ежечасно вы набираете международные документы, когда стол ваш завален бумагой, а вокруг вас, словно пчелы, роятся люди, вам кажется, что возникающая проблема в ближайшее время разрешится.

Несмотря на скорость, с которой двигались немцы, Татьяна Алексеевна понимала, что в срочном порядке, посредством разных каналов, СССР пытается договориться с Германией. Гитлеру предлагалось сделать паузу, остановиться и решить, что он хочет забрать.

— Не думаю, что мы действительно собирались отдать Германии Украину или Белоруссию, но время на перегруппировку войск нам действительно требовалось, а потому наши агенты встречались с немецкими коллегами и, передавая самые понятные намеки, предлагали сесть за стол переговоров. Я верила, что усилия эти обязательно принесут свои плоды. Война закончится, обязательно закончится, отводя дочь в сад, думала я. Проходила неделя, другая, а я по-прежнему наивно полагала, что конфликт непременно заморозится. Лишь в конце августа, когда Леша ушел на Южный фронт, я вдруг поняла, что случилось нечто по-настоящему страшное...

Я делаю глоток. Чай горячий, крепкий и сладкий. Соседка улыбается. Я еще раз смотрю на часы, но решаю остаться.

— Спустя месяц я получила первые письма. Сразу два. Лешка ровным счетом ничего не рассказывал. Не хотел тревожить меня. Я восхищалась мужем. Он был там, в самом пекле, а думал только о том, как бы не напугать меня. Полный штить. Леша писал всякие глупости и успокаивал меня. Говорил, что погода хорошая, что нормальная еда. Рассказал, что с ним служит какой-то прекрасный исполнитель, что недавно они нашли в заброшенной школе пианино, и однопольчанин играл ему «Венгерскую рапсодию» Листа. Говорил, что

вместе с ним много простых мужиков, которые, кажется, не всегда разделяют его политические взгляды, но теперь это не важно — главное, что народ объединился против врага.

Татьяна Алексеевна знала, что муж занимается разрушением мостов, и это вселяло надежду. В конце концов — заблуждалась она — он же не на передовой. Отступая, путь немцам стараются обрезать заранее, и значит, у Лешки всегда есть возможность избежать встречи с врагом...

— Я хорошо помню большие глаза продавщицы в музыкальном магазине. Удивление. Раздражение и непонимание. Во взгляде этой женщины было и сожаление, и злость.

«Господи, идет война, а они приходят за музыкой! Что не так с этими людьми? Вам “Венгерскую рапсодию” Листа? Почему именно ее? Почему вы покупаете музыку именно сейчас? Хотите оставаться человеком и продолжать обычную жизнь? Не хотите замечать трагедии? Хотите вернуться домой, скинуть туфли и включить музыку?»

Нет. Она не хотела. Татьяна Алексеевна желала лишь быть поближе к мужу. Она хотела понять, как он там. Слушая Листа, впервые в жизни Татьяна узнавала в его аккордах не веселье, но разрывы бомб. Теперь она слышала не шутку, но ужас, который ей только предстояло пережить. В игривых пассажах, которые раньше вызывали у нее лишь улыбку, Татьяна Алексеевна слышала абсурд и бессмыслицу, комичность и дьявольскую нелепость начавшейся войны.

Ее опасения усилились в середине октября. Писем от Алексея больше не было, а после просочившихся слухов вдруг побежала Москва.

Четыре страшных дня. Когда столица узнала, что фашисты совсем близко, люди натурально сошли с ума. Инстинкт самосохранения как он есть. Впервые в истории закрыли метро. Это, кажется, стало последней каплей. Страна флюгеров. Граждане, которые за годы вранья научились точно считывать всякий намек, поняли, что дан сигнал. Опустела Старая площадь, пропали деньги. Самые важные здания златоглавой готовились к заминированию. Татьяна Алексеевна сидела в кабинете, когда какой-то парень ходил вокруг ее стола, раздумывая, в каком месте лучше заложить взрывчатку. Вместе с другими наркоматами НКВД решили перевести в Куйбышев, однако секретариату, подчинявшемуся Молотову, надлежало остаться в Москве.

«Что с нами будет?»

«Все будет хорошо, не беспокойся! Говорят, Жуков пообещал, что отстоим!»

«Точно отстоим?»

«Отстоим!»

Четыре дня, в отличие от нее, Москва не верила никаким заверениям. Люди бежали на машинах и повозках. Увидев всякий ползущий грузовик, мужчины пытались посадить в кузов своих жен и детей. Оккупировавшие машины граждане отбивались чемоданами и мешками. Дружба дружбой, октябрь октябрем, но когда речь заходила о спонтанной эвакуации, обезумевшие люди обходились без сантиментов.

«Убери руки, сволота! Отойди! Убью, убью, сука!»

Долгие годы Партия рассказывала, что в Советском Союзе нет привилегированных. Иностранные писатели и философы, которых старательно ангажировал отец Татьяны

Алексеевны, десятилетиями передавали эту информацию на Запад, однако в октябре 41-го сомнений не осталось — из столицы бежали преимущественно особенные. Прознав об этом, обыкновенные перекрывали выезды из Москвы. Выйдя на дорогу, обозленные мужики бросались на всякий покидающий город автомобиль и, отобрав у зажиточных деньги, хорошенько избив бегущих, пускали машины в кювет. В Москве громили витрины, и, опасаясь врага, верные сталинисты сжигали документы. Лучшие слуги вождя требовали предоставить им отдельные вагоны для вывоза ваз, диванов и картин...

— Я уже сказала вам, что получила от мужа всего два письма. Затем связь прекратилась. Сперва я не волновалась — перебои бывали даже у нас, в НКВДе. Я старалась быть сильной. Мой муж был на войне, и, значит, я должна была соответствовать любимому. Всем было тяжело, но мы привыкали, мы привыкали, потому что трагедия становилась нормой.

+

Каждый день, возвращаясь с работы, Татьяна Алексеевна проходила мимо дома Азарова. Ей хотелось подняться и позвонить в дверь, но она понимала, что друг не откроет. Вот уже два года как Татьяна ничего не знала о его судьбе. В НКВД шептались, что идет следствие, что Павла вот-вот отпустят, но она все думала: что же это за следствие такое, что длится семьсот дней?

В 41-м работали без выходных. Отложив один документ, Татьяна Алексеевна тотчас бралась за следующий. Отчеты полпредов и результаты переговоров, душещипательные письма товарищу Сталину и донесения из разных стран. С первых же дней войны Международный Красный Крест попытался наладить отношения с Советским Союзом, но, к сожалению, из этого ничего не вышло.

В Женеве предлагали начать обмен военнопленными и, насколько это возможно, помочь страдающим комбатантам, однако вдруг оказалось, что Советский Союз это не интересуется. НКВД вяло реагировал, а чаще и вовсе не отвечал на письма из Швейцарии.

ТЕЛЕГРАММА

Из ЖЕНЕВЫ
20 октября 1941 г.
Народному Комиссару
Иностранных Дел
Москва

ИМЕЕМ ЧЕСТЬ ИЗВЕСТИТЬ ВАС, ЧТО МЫ ПОЛУЧИЛИ ИМЕННОЙ СПИСОК 2894 СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В РУМЫНИИ, КОТОРЫЙ МЫ ВАМ ПЕРЕДАДИМ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО НАШЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ В АНКАРЕ. ИЗВЕЩАЕМ ТАКЖЕ ВАС, ЧТО РУМЫНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАВИЛО НАС В ИЗВЕСТНОСТЬ О СВОЕМ РЕШЕНИИ ПРЕКРАТИТЬ ПОСЛЕДУЮЩУЮ ПОСЫЛКУ СПИСКОВ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ИМЕННЫХ СПИСКОВ РУМЫНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ

— Со временем из приходящих к нам обращений я поняла, что едва ли не на всех письмах Красного Креста начальники оставляют одну и ту же резолюцию:

«НЕ ОТВЕЧАТЬ».

Женева просила выдать визы двум своим представителям, но Москва игнорировала эти запросы. Красный Крест обращался вновь и вновь, однако, получив установку свыше, в НКВДе хранили молчание.

— Вся эта волокита с военнопленными нас только отвлекала. У НКВДа были дела поважнее. К тому же нам объяснили, что храбро сражающийся солдат не может попасть в плен. Если воин сдался, имя такому человеку — трус. Как ни странно, чаще всего я слышала это от мужчин именно здесь, в Москве. Советский солдат должен биться до последней капли крови. И точка. И абзац.

В начале зимы 41-го Красный Крест переслал обещанный поименный список советских военнопленных с румынского фронта. Когда документ оказался на столе Татьяны Алексеевны, она вдруг почувствовала, что по телу ее побежали мурашки.

— Сама не знаю почему, но я решила проверить, нет ли в документах нашей фамилии. Аккуратно, чтобы никто не увидел, я взяла прилагавшиеся к обращению карточки и начала читать имена плененных солдат. Румыны не удосужились составить список в алфавитном порядке, поэтому я перечитывала имена и фамилии по несколько раз, пока наконец не наткнулась на собственного мужа...

Сомнений быть не могло — все совпало: инициалы, звание, год рождения. Она чуть было не потеряла сознание. Вероятно, так дышит взбежавший на Монблан человек. Кислородное голодание или что-то там еще.

— Не знаю, не знаю, как это описать, но мне показалось, что я вот-вот умру.

Трясущимися руками она отложила карточки и, аккуратно отодвинув стул, вышла из кабинета. Ноги стали ватными, кругом пошла голова. Оказавшись на улице, она чуть

было не попала под автобус. Какая-то женщина клубом горячего воздуха рывкнула на нее:

«Куда прешь?!»

— Не помню, как я доскользила до сквера и плюхнулась на заснеженную скамейку. В этих туфлях я была точь-в-точь корова на льду. На улице было холодно, но я ничего не чувствовала.

Ее трясло от потрясения, но не от мороза. Прикрыв рот ладонью, Татьяна Алексеевна попыталась успокоиться.

«Жив! Жив! Жив!» — прошептала она.

Смерть на мгновение. Пауза. На Москву валил снег, но для нее время остановилось. Над землей повисла тишина. Молчание. Будто кто-то выключил звук. Исцеляющая пустота. Татьяна Алексеевна узнала, что ее муж ранен, но жив...

Ранен, но жив...

Ей следовало немедленно вернуться на работу, но она не могла.

— Вы даже не представляете себе, что в этот момент происходило со мной!

«Паша, Пашка, где же ты теперь, Пашка? Мне сейчас так нужно с тобой поговорить! Мне так важен твой совет! Лешка в плену! Ты представляешь? Да, Лешка в плену! Да, попал в плен! Да, к румынам... Где? Не знаю. Нет, нет, не беспокойся, я никому не скажу...»

Безуспешно Татьяна Алексеевна пыталась затихнуть и разложить случившееся по полкам. Счастье? Нет! Она испытывала все что угодно, но только не радость.

«Первое: Леша жив.

Второе: Леша в плену. Почему в плену? Как он там? Как они к нему относятся? Все ли с ним хорошо? Тяжело ранен... Что это значит? Пуля? Взрыв? Штык? Быть может, у него ампутирована рука или нога? Так или иначе, сейчас он жив, и это самое главное! Его хотят обменять, и значит, совсем скоро он будет дома! И я его обниму, и мы будем вместе! Леша, Аська и я...

Второе... Нет, второе — это то, что Леша в плену.

Третье: Леша в плену, и значит — я никому не должна об этом говорить... Да, никому!»

— Почему?

— Что почему?

— Почему вы никому не могли рассказать о том, что ваш муж в плену?

— Потому что я хорошо помнила опубликованный во всех августовских газетах 270-й приказ:

«Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров».

На деле же все обстояло гораздо серьезнее. Татьяна Алексеевна работала в НКВДе. Распространялась директива, согласно которой в особых случаях семьи сдавшихся в плен

солдат предлагалось не только ссылать в лагеря на пятнадцать лет, но и расстреливать. То был ее случай.

— Надеюсь, вы не забыли, какие документы бывали в моих руках и где я родилась...

Ловушка. В одно мгновение жизнь перевернулась с ног на голову. Западня, прекрасно выстроенный судьбой капкан. Алексей оказался в плену... Ее муж стал врагом народа, и, значит, врагом народа тотчас стала она.

«Надо идти! Немедленно нужно бежать на работу!» — вставая со скамейки, повторяла Татьяна Алексеевна. Возвращаясь в НКВД, она думала, что должна действовать. Поразительно, с какой скоростью может работать голова. Миллион комбинаций в секунду. Мгновенное осознание. Несмотря на туман, что затапливал глаза, мозг ее работал блестяще.словно самый лучший на свете шахматист, она просчитывала всевозможные комбинации...

— Не подумайте, что я сейчас хочу оправдаться. Нет! Все, что на мне лежит, я знаю. Интересно другое. Удивительно, как быстро, в миг буквально, может схлопнуться совесть. Пшик! Расчеловечивание происходит в доли секунды...

Сколько раз во время застолий, после бокала-другого, мы спорили с друзьями о тех или иных шагах?

«Нет, этого я никогда не сделаю! Нет, даже под страхом смерти я так не поступлю! Предать? Вы что! Оклеветать? Никогда! У всего же есть границы! А как же мораль? А как же честь? Вы слышали, что тот-то и тот-то написали донос? Написала бы донос я? О, нет! Конечно никогда! Оболгать другого? Ерунда! Я не сделала бы этого даже под пыткой. А если бы от этого зависела жизнь моих детей? Ничто бы не заставило меня перестать быть человеком!»

Как бы не так! На деле все оказалось гораздо сложнее... Если человек в чем-то по-настоящему и преуспел, так только в умении договариваться с самим собой...

Поднимаясь по ступенькам, будто трясущимся молоточком, она стучала указательным пальцем по зубам:

«Думай, думай, думай... Обращение Красного Креста напечатано на французском. Фамилии военнопленных записаны латинскими буквами. Если кто-нибудь из наших прочтет этот список... Если кто-нибудь заметит, сопоставит и поймет, что в нем мой муж... Впрочем, все это маловероятно. Наши этим заниматься не станут. Дел и так невпроворот. Кого могут заинтересовать эти фамилии? Почти три тысячи человек! Кто станет все это читать? Наши девочки? Но у них вроде бы на фронте никого нет. Только у Ленки, кажется, был муж, но он погиб уже в начале осени. Значит, с нашими все понятно... Так, главное, не беспокоиться... Спокойно, спокойно, идем дальше... Значит, наши не заметят, наши, скорее всего, все пропустят, но вот НКВД... Совсем другое дело НКВД... Сейчас я переведу документ и отдам его Подцеробу. Через несколько дней списки военнопленных уйдут в НКВД, а вот эти товарищи ждать не станут, сразу же возьмутся за дело. Идти на фронт они не собираются — у них своя священная война. Чем больше посадят, тем выше будет похвала. Думаю, в НКВД пойдет только переведенный список. Что, если сделать опечатку? Что, если изменить всего один слог в фамилии? Сопоставлять списки точно никто не будет. Если поменять всего одну букву в инициалах — искать станут другого человека... Только какой слог можно поменять в фамилии Павков? Черт, Лешка, ну и фамилия у тебя! Нет, слог менять нельзя! К тому

же, если они не найдут человека или поймут, что что-то не сходится, — сделают повторный запрос, потребуют предоставить оригинал, и тогда все тотчас вскроется. Интересно, обязаны ли мы предоставлять им оригиналы? Кто может знать? У кого бы спросить? Нет, нет, спрашивать об этом, безусловно, нельзя! Быть может, лучше вовсе вычеркнуть Лешу? Но тогда не совпадет количество военнопленных. С одной стороны, в НКВД об этом не узнают и будут искать на одну родственницу меньше, с другой — сопоставить количество солдат могут только здесь, у нас...»

Итак, она собиралась спасти себя и мужа, но все еще не представляла как. Войдя в кабинет, Татьяна попыталась справиться с мыслями и, не подавая виду, села за свой стол. Прежде всего она решила еще раз проверить документ: «Вдруг мне почудилось? Вдруг в этом списке был вовсе не мой муж?»

Нет-нет, все верно. В румынском плену оказался именно он, именно Алексей.

Времени на размышления не было. Решение следовало принять немедленно. Первым делом она перевела письмо Красного Креста, затем взялась за фамилии. Обычно Татьяна справлялась с документами гораздо быстрее, но здесь совершенно понятная сила тормозила ее. Спустя два с половиной часа она все же добралась до него, добралась до Лешы.

«Что, если они не станут никого разыскивать? Все-таки война... Разве есть сейчас время бороться с собственными гражданами? Зачем преследовать нас, если враг наступает? Так... ладно... успокойся... думай... думай... думай объективно... Война войной, но у этих ребят свои дела... Давай представим, что список все-таки попадет к ним... Выходит,

нужно вносить правки... Если же они поймут, что я исправила документ — расстреляют без промедлений, как пить дать! Быть может, мне самой им все рассказать? Что, если мне заявиться с чистосердечным признанием? Может, тогда они не тронут меня? Возможно, я смогу с ними договориться? Они смогут ставить меня в пример. Скажут: вот, смотрите, настоящая коммунистка — она узнала, что муж ее — враг народа, и отказалась от него! Хорошая история для пропаганды, разве нет? Если я пойду на сделку с совестью, то, во всяком случае, смогу позаботиться об Аське. Я скажу, что не хочу знать врага народа. Да, я так и скажу. Товарищи, простите нашу семью! Быть может, мне подать на развод? Пока все не вскрылось, написать заявление немедленно? Уверена, Леша бы меня понял. Я спасаю Асю, а не себя. Нет сомнений — он бы и сам так поступил. Лешка любит меня... он не стал бы нас винить... Впрочем, нет... Нет, нет, нет! Все это путь в никуда... Как только они узнают, что муж сотрудницы, у которой есть доступ к секретным документам, перешел на сторону врага, тотчас арестуют и меня. Беда... Беда... Беда...»

— Почему вы замолчали?

— А?

— Я говорю, почему вы замолчали? Что вы сделали?

— В смысле?

— Что вы сделали с документом?!

— А... не помню...

— Что значит, не помните?! Вы же мне сейчас в мельчайших подробностях рассказывали обо всем!

— Да шучу я, Саша, шучу... Смешно же, правда? Когда же мне еще шутить, как не сейчас? Веселая ведь история, да? Включишь телевизор, так показывают людей, которые будто бы ностальгируют по тем временам. Плохо многим живется без страха... Что я сделала? А что я могла сделать? А что бы вы сделали на моем месте?

— Не знаю, мне сложно так сразу ответить.

— Сложно так сразу ответить... Вот и мне было сложно. Еще утром я была обыкновенной советской женщиной без претензий к самой себе. Совесть моя была чиста. Я прожила честную жизнь, никогда никого не обманывала и не предавала... Теперь же, в полдень серого и холодного дня, судьба предлагала мне решить непростую задачу... Как там в песне? Как же быть? Как быть... отпустить тебя или забыть, не могу я это сделать, не могу...

— Там песня не про это...

— Не про это... да... вы правы... не про это... Что я сделала? Я сделала то, о чем жалела всю жизнь...

+

Она сидела за своим столом и смотрела на фамилию мужа. В румынских карточках фамилия была — в переведенном на русский язык документе еще нет. Пришло время действовать. Вписать в русский список данные мужа означало сохранить честь, но рискнуть, поставив под удар не только себя, но и дочь. Не вписывать? В этом случае появлялась возможность избежать ареста, но Татьяна Алексеевна боялась, что в НКВД заметят.

— Представьте себе человека, который играет в шахматы сам с собой и записывает все ходы. В вашей комнате больше никого нет, и, играя за черных, вы крадете с доски всего одну белую пешку. Как вы поступите? Станете ли документировать воровство? Как это могло произойти? Пешка была, и вдруг ее нет. Быть может, никто и не заметит? Кому какое дело до обыкновенной шахматной партии?

— Так что же вы сделали?

— Что я сделала?.. что я сделала... я подставила другого человека...

— Как?

— Очень просто. Я поставила одну фигуру на две клетки...

Когда очередь дошла до Алексея, Татьяна еще раз перепечатала предыдущую фамилию. Теперь за номерами 567 и 568 шел один и тот же солдат, но не Леша, не ее муж. После Павкина должен был идти Павков, но, повторив фамилию неизвестного ей солдата, Татьяна Алексеевна не внесла в список собственного мужа.

Соседка прерывает рассказ. Сделав глоток чая, она переводит взгляд с чашки в мою сторону:

— Я знаю, о чем вы сейчас думаете. Думаете: как же она могла так поступить? Почему не вычеркнула других, а спасла только себя? Почему не переписала весь список? Много лет спустя я подумала, что действительно могла бы так поступить. Быть может, мне и вправду следовало исковеркать все две тысячи фамилий... В этом случае я бы на некоторое время запутала ищек, впрочем, совсем скоро они бы все равно вышли и на меня, и на всех остальных... Так что нет, не было бы в этом поступке никакого геройства и смысла...

Впрочем, что уж теперь об этом говорить? Я же все равно так не поступила... Струсил? Безусловно, да. Я и не оправдываю себя. В тот день я поступила подло, я понимаю это, но, поверьте, жизнь довольно сурово наказала меня...

Она не знала, кем был тот солдат. Не знала. Татьяна Алексеевна понимала, что это такой же советский гражданин, как и муж, такой же раненый, с той лишь разницей, что в списке он стоял на одну строчку выше, а потому теперь стоял дважды. Вот и все! Вот, собственно, и все. Она не знала этого парня, но пускала по следу его семьи две своры.

— Я решила, что повтор этот в НКВД сочтут обыкновенной опечаткой. К тому же, если они действительно собирались посадить всех жен, им предстояло выполнить большую работу, найти и арестовать несколько тысяч женщин. Вряд ли, рассудила я, товарищи будут обременять себя такими мелочами, как одна человеческая судьба...

Сдав документы, она пообещала себе, что будет жить прежней жизнью. «Ничего не случилось, — повторяла она, — ничего ровным счетом не произошло». Опечатка. Скорее всего, машинистка засмотрелась и напечатала эту фамилию дважды. Надо позвонить в НКВД, сказать, чтоб они ее там отшлепали.

— Я была уверена, что справлюсь. Я верила, что найду в себе силы, а постоянно сваливающиеся на меня документы отвлекут меня. Допечатав список, я сдала его. И в русской версии, которая по моим расчетам должна была отправиться в НКВД, Алексея больше не было.

+

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА
С ИСКРЕННИМ СОЖАЛЕНИЕМ ИЗВЕЩАЕТ ВАС,
ЧТО СОЛДАТ РК. КРАСНОЙ АРМИИ
БЕССОНОВ АНТОН РОД. В 1925 Г.**

**БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН В БОЮ НА ФИНЛЯНДСКОМ ФРОНТЕ И, ПОДОБРАН-
НЫЙ НА ПОЛЕ СРАЖЕНИЯ ФИНЛЯНДСКИМИ СОЛДАТАМИ, БЫЛ ДОСТАВЛЕН
В ФИНЛЯНДСКИЙ ВОЕННЫЙ ЛАЗАРЕТ № 58, ГДЕ И СКОНЧАЛСЯ ОТ ПОЛУ-
ЧЕННЫХ РАН 9 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА, НЕСМОТРИ НА ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ
МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ЕГО СПАСЕНИЯ.**

**ЭТИ СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ НАМИ ОТ ТОВАРИЩЕЙ ПОКОЙНОГО СОЛДА-
ТА, НАХОДИВШИХСЯ ОДНОВРЕМЕННО С НИМ В НАЗВАННОМ ЛАЗАРЕТЕ.**

**СОГЛАСНО ПРЕДСМЕРТНОМУ ЖЕЛАНИЮ ПОКОЙНОГО, ПРОСИМ ВАС СО-
ОБЩИТЬ ЭТО ПЕЧАЛЬНОЕ ИЗВЕСТИЕ Г-ЖЕ БЕССОНОВОЙ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ
В ДЕРЕВНЕ ЕМЕРЕНО КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ИМЯ Г-ЖИ БЕССОНОВОЙ
И СТЕПЕНЬ ЕЕ РОДСТВА С ПОКОЙНЫМ СОЛДАТОМ НАМ НЕ УКАЗАНЫ.**

**ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЯ ВАС ЗА ВАШУ ЛЮБЕЗНОСТЬ, ПРОСИМ ВАС ПРИ-
НЯТЬ УВЕРЕНИЯ В СОВЕРШЕННОМ К ВАМ УВАЖЕНИИ.**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА
СООБЩАЕТ ВАМ, ЧТО СОЛДАТ КРАСНОЙ АРМИИ:**

ДМИТРИЙ СЕМЕНОВИЧ КУРИЛЕНКО

СКОНЧАЛСЯ 14.11.41 В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРЛОВКИ/УКРАИНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НИКИТОВКИ. ПОХОРОНЕН НАПРАВО ОТ АСФАЛЬТИРОВАННОЙ ДОРОГИ, ВЕДУЩЕЙ ИЗ ГОРЛОВКИ К НИКИТОВКЕ, ЗА МОСТОМ, ПОД КОТОРЫМ ПРОХОДИТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ.

ОЗНАЧЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ ПОЛУЧЕНЫ НАМИ ОТ ИТАЛЬЯНСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА.

ИМЕНА И ФАМИЛИИ РОДСТВЕННИКОВ УМЕРШЕГО НАМ НЕ УКАЗАНЫ.

ПРИМИТЕ УВЕРЕНИЕ В СОВЕРШЕННОМ К ВАМ УВАЖЕНИИ.

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА
ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ ВОЕННОПЛЕННЫХ
БРУНО ДЕЛЬОФФ**

Красный Крест продолжал телеграфировать. Каждый день с большим волнением Татьяна Алексеевна ожидала писем из Женевы. Читая истории погибших солдат, она понимала, что уже следующим документом может оказаться подтверждение смерти ее мужа.

«Красный Крест с искренним сожалением извещает Вас, что солдат Красной Армии...» — нет, к счастью, не убит, к счастью, ранен, к счастью, не он, к счастью, кто-то другой...

— Проходили недели. Мы получали множество новых телеграмм, но я по-прежнему ничего не знала об Алексее. Ни-

чего нового. Тяжело ранен. Был в одном списке, исключен из другого. Мной. Находится в румынском плену. Тяжело ранен.

Находится в румынском плену.

Тяжело ранен.

Находится в румынском плену.

Все еще?

Или уже нет?

Тяжелораненых долго не держат.

Тяжелораненые никому не нужны...

Стороны конфликта, как правило, стремятся обменять тяжелораненых в первую очередь. С тяжелоранеными слишком много возни. Здесь своих спасать некогда, кто же возьмется думать о других? Дураков нет. Красный Крест, выражая искреннее уверение в совершенном к вам уважении, прикрепляет к письму новый список тяжелораненых... Почитайте, им вот-вот умирать...

— Как-то раз Лена, та самая машинистка, что в начале сентября потеряла мужа, подошла ко мне и спросила:

«Тань, слушай, а ты же из этих, да?»

«Что ты имеешь в виду?»

«Ну ты же родилась на Западе, да?»

«Да, в Лондоне».

«Слушай, я вот все набираю документы и не могу понять, что у вас в головах?»

«В каком смысле?»

«Ну вот у вас, европейцев, что у вас в головах?»

«Я советский человек и советский гражданин, точно такой же, как и ты».

«Да-да, это все понятно, но ты же жила там, ты же должна понимать, что у этих людей в башке?»

«То же, что и у нас, Лен».

«То же? Нет, я не верю! Если то же — тогда зачем они шлют нам все эти документы?»

«Какие документы?»

«Ну вот все эти письма, в которых рассказывают про каждого солдата. Для чего они это делают? Чтобы что? Я вот не понимаю! Воюют десятки стран, гибнут сотни тысяч, а эти клоуны из Женевы шлют нам письма. Я сегодня потратила кучу времени на троих бойцов из-под Киева. Все погибли, но данных родственников нет. Они мне что предлагают? Отправиться на Украину и на главной площади кричать, что у меня три трупика?»

Мне иногда кажется, — продолжала она, — что эти швейцарцы просто-напросто хотят парализовать нашу работу. Быть может, они заодно с фашистами? Какое им дело до того, что у нас случилось? Что им до того, что у нас кто-то умер? Почему бы в конце года не прислать один общий поименный список? Неужели они думают, что нам здесь больше нечего делать, кроме как переписываться с родственниками? Закончится война, и все всё сами поймут!»

«Думаю, они считают это важным», — спокойно, чтобы не злить Лену, ответила я.

«Что важно?! Кому это сейчас важно?!»

«Мне важно. Я бы хотела знать, где сейчас мой муж».

«И на что это повлияло бы?»

«На все, Лена, на все...»

Выбросив окурок, она вернулась в кабинет. Посмотрев на календарь, Татьяна поняла, что вот уже несколько недель курит. Это успокаивало. Каждый день она с ужасом ожидала похоронки. Каждую ночь думала о семьях, которым не смогла помочь. Таня представляла женщину, которую дважды подставила под арест, и, прокручивая в голове фамилию незнакомого солдата, надеялась, что он не успел обзавестись женой. Татьяна переживала, что не сможет сообщить тысячам матерей, что их близкие живы, как и не сможет рассказать другим, что их родственники мертвы.

— Как бы я смогла это сделать? Скопировать список и разослать? Но у меня не хватило бы денег даже на марки. К тому же все письма из Москвы проходили жесточайшую цензуру. Находить этих женщин и лично с ними разговаривать? Но мы работали без выходных, и у меня не было возможности покинуть город. Теперь я понимала, что совершила невероятную глупость! В тот день мне показалось, что я нашла хорошее решение, но на деле оно оказалось худшим из возможных! Как такое вообще могло прийти мне в голову?! Я могла бы вписать любую несуществующую фамилию, но вместо этого сделала ход, который тотчас бросался в глаза! Какой нужно было быть идиоткой, чтобы повторить одну и ту же фамилию дважды?! Как можно было поверить в то, что в НКВД это кричащее совпадение оставят без внимания?! «Как только они увидят повтор — сразу поймут, что дело тут нечисто!» — думала я. Вместо того чтобы написать выдуманную фамилию и отвести подозрение от нашей семьи, я сама же сделала все, чтобы ищейки не только арестовали неизвестного мне солдата, но и пришли за мной.

Не было и часа, чтобы она не думала об аресте. Татьяна Алексеевна боялась за мужа, боялась за дочь. Опасность таилась в каждом мгновении и в каждом углу. Татьяна ждала гостей. В любом смотревшем на нее человеке, во всяком прохожем она видела товарища, который вот-вот бросится на нее. По ночам, уложив Асю, Татьяна Алексеевна прислушивалась к проезжающим автомобилям и засыпала в три или четыре утра, когда организм окончательно ослабевал.

Она разрабатывала план побега. Единственный друг оказался в тюрьме. Родители Леши жили здесь, в Минске, и к этому времени оказались в немецкой оккупации, а потому Татьяна Алексеевна медлила. Всякий раз, придумав новый план, она находила в нем погрешность. Следовало действовать, но страх сковывал ее.

— Материнский инстинкт не помогал, но заставлял быть осторожной. Я боялась. Мне казалось, что все дороги моего лабиринта ведут в тюрьму. И это было очень страшно. По-настоящему. Давление, от которого можно было сойти с ума.

Она чувствовала себя заключенным, которого ввели в камеру смертников, но почему-то не убивают. Пистолет был приставлен к ее затылку, холодное дуло прикасалось к голове, но палач не спускал курок. День, два, двадцать два. Спустя несколько месяцев она была так взвинчена, что хотела сдать сама.

— Я постоянно болела. Организм изнашивался. Впрочем, в этом не было ничего удивительного, ведь даже самый жестокий приговор всегда гуманнее неизвестности.

Время от времени ей снился один и тот же сон. Муж брал ее за руку и подводил к длинному деревянному мосту.

«Смотри, — говорил он, — этот мост построил я. Будь осторожна — мне было не до перил...»

Мост был перекинут через глубокую пропасть и шатался от ветра. Идти, а лучше ползти по нему следовало чрезвычайно осторожно. Всякий раз, дойдя до середины, муж и жена почему-то останавливались и, вместо того чтобы продолжить путь, подходили к краю. Алексей брал Татьяну за руку и предлагал сесть. Она жутко боялась, но повиновалась. Свесив ноги и застыв от ужаса, Татьяна Алексеевна смотрела, как далеко-далеко внизу шелестят малюсенькие голубые ели. Мост раскачивался, и от страха немели бедра. Она просила Алексея пойти дальше, но мужа больше не было рядом. В самый страшный момент ее жизни он вдруг исчезал. Она сидела посреди моста и понимала, что если только попробует встать, если только попытается приподняться на руках — мост этот тотчас качнется, и она упадет...

+

В апреле 42-го Красный Крест прислал еще один документ. На этот раз румыны предлагали к репатриации 632 советских солдата. Убедившись, что на нее никто не смотрит, Татьяна Алексеевна вновь пошла по списку. Один раз, два...

— Я прочла документ несколько раз, но Леши в нем не оказалось.

«Леши нет...»

«Он выздоровел?»

«Поправился?»

«Сбежал?»

«Лешу перевели в другой лагерь?»

«Он уже на пути в Москву?»

Она могла успокоить себя тем, что ее муж жив, могла попытаться убедить себя, что с Алексеем все в порядке, могла хотя бы попробовать сказать себе: «С Алексеем все хорошо... Слышишь меня? Слышишь меня, дура?! Посмотри в зеркало и скажи себе: с Алексеем все отлично! Скажи это тихо и спокойно... Выдыхай и говори... С Алексеем все хо-

рошо...» Но нет, она не смогла. После нескольких месяцев колоссального давления Татьяна Алексеевна сдалась. У нее не осталось сил. Леши не было в новом списке, и Татьяна Алексеевна испугалась, что ее муж мертв...

— Как-то раз, заметив в коридоре Подцероба, я, вскочив из-за стола, побежала за ним.

«Борис Федорович, нам нужно поговорить!»

«Ты чего это такая взвинченная, Тань?»

«Мне нужно кое-что спросить у вас — это важно!»

«Слушаю...»

«Что будет с нашими военнопленными?»

«В каком смысле, Тань?»

«Что будет с нашими солдатами, которые в плену?»

«Почему ты спрашиваешь?»

«У меня, кажется, там муж...»

Подцероб внимательно посмотрел на нее:

«Где, Тань?»

«Нет, нет, я не уверена... Просто я давно ничего от него не получаю, и я вот подумала: а что, если он вдруг оказался в плену?»

«А... ну ты не беспокойся! Ты же знаешь, какие теперь перебои с почтой... Иди работай, все будет хорошо!»

«Борис Федорович, мой муж в румынском списке...»

Смертный приговор. Она построила город и построила площадь. Она построила кузницу и вырастила палача. Сама возвела эшафот и сама же на него взошла. Все это длилось

буквально несколько секунд. Подцероб молча смотрел на Татьяну, и она понимала, что только что приговорила себя. Услышав про румынский список, Подцероб легонько подтолкнул сотрудницу к подоконнику и, осмотревшись по сторонам, тихо спросил:

«Ты уверена?»

«Да».

«Он есть в последнем списке тяжелораненых?»

«Нет, в последнем нет, но он был в том, что присылали в начале зимы, именно поэтому я и переживаю...»

«Забудь об этом!»

«В каком смысле, Борис Федорович?»

«Забудь, слышишь меня!»

«Но как я могу забыть?»

«Так! Он не вернется! Никогда не вернется, поняла?! Муж твой, скорее всего, умрет в лагере, а если ему вдруг удастся сбежать и перебраться к нашим — он тотчас попадет под трибунал! Черт, только этого мне не хватало! У меня и так тут работать некому! Чтоб никто об этом не знал, слышишь?!»

«Да, но Борис Федорович, что же с ним будет?»

«Ничего...»

Резким движением Подцероб взял с подоконника бумаги и пошел по коридору. Он еще что-то ворчал сам себе, и Татьяна поняла, что совершила судьбоносную глупость. Она сама казнила себя. И Лешу, и Аську.

— Теперь начальник обязан был написать отчет. Умолчав о моей истории, Подцероб, по сути, шел бы на должностное преступление, покрывая потенциального шпиона в стенах НКВД. Шеф скрылся за одной из дверей, и я поняла, что до моего ареста (теперь уж точно) остается всего несколько дней...

+

СПРАВКА
ПО ВОПРОСУ ОБ ОБМЕНЕ СВЕДЕНИЯМИ
О ВОЕННОПЛЕННЫХ

13 января 1942 г. на докладной записке т. Вышинского по вопросу обмена сведениями военнопленных воюющих против СССР государствами тов. Молотов написал:

«Не нужно посылать список (немцы нарушат всякие правовые и другие нормы)».

На докладной записке т. Вышинского по вопросу об обмене списками военнопленных с Румынией от 24 марта 1942 г., в котором предлагалось не отвечать на предложение Красного Креста об обмене списками, имеется отметка о согласии тов. Молотова.

На докладной записке т. Вышинского от 23 апреля 1942 г. о неоднократных представлениях болгарской миссии относительно сообщения сведений о германских военнопленных в СССР тов. Молотов написал:

«Не отвечать».

30 июля 1942 г. на докладной записке т. Вышинского по вопросу о предложении финского правительства об обмене списками военнопленных т. Молотов сделал пометку о своем согласии с тем, что отвечать на предложение Финского правительства (и соответствующую телеграмму Международного Комитета Красного Креста) нет необходимости.

31 августа 1942 г. по указанию т. Вышинского посланнику СССР в Швеции в связи с запросами шведского министерства иностранных дел относительно обмена списками военнопленных было рекомендовано на такого рода запросы не отвечать, а в случае, если шведы будут настаивать, сказать кому следует, что, в связи со зверским обращением гитлеровских властей и их пособников с советскими военнопленными, отрицательная позиция советских органов в вопросе обмена списками военнопленных сама собой понятна и не требует никаких объяснений.

29 января 1943 г. на докладной записке Правового отдела на имя т. Вышинского с предложением не отвечать на ноту от 27 января 1943 г. за № 27 болгарской миссии относительно дачи сведений о германском ефрейторе Гастаниена, взятом нами в плен, т. Вышинский наложил резолюцию:

«Согласен».

+

Посреди поля стоял крест. Тонкий и в человеческий рост. Простой, но гордый. Сваренный из двух старых труб, облупившийся и изъеденный ржавчиной, крест этот казался красным. Слегка покосившийся, но намертво вонзенный в землю, едва начинался ветер, крест этот резонировал и превращался в музыкальный инструмент. Крест пел о прошлом и о будущем, о смерти и о безысходности, о памяти и о смирении. Не политый, но пропитанный кровью снизу, из самой этой земли, крест был ее историей и метафорой, предупреждением и ориентиром. Крест поливали дожди, заваливал снег и обжигало солнце, и тень, которую он отбрасывал, была не черной, но темно-красной, и теперь тень эта разливалась за горизонт так далеко, что время от времени, приняв ее за закат, люди любовались ею.

+

ТЕЛЕГРАММА

Из ЖЕНЕВЫ

25 июля 1942 г.

Его Превосходительству

МОЛОТОВУ,

Народному Комиссару

Иностранных Дел.

МОСКВА

Финляндское правительство просит нас обратиться еще раз к Правительству СССР с тем, чтобы получить информацию о финляндских военнопленных, находящихся во власти советских сил. Списки, которые мы уже получили от финляндского правительства, могут быть немедленно обменены при нашем посредничестве, как только будут получены также списки финляндских военнопленных. Принцип взаимности, принятый согласно заявлениям советского и финляндского правительства в 1941 г., мог бы быть, таким образом, в действительности обе-

СПЕЧЕН В СООТВЕТСТВИИ С ГААГСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ 1907 Г. И ЖЕНЕВСКОЙ КОНВЕНЦИЕЙ 1929 Г. О РАНЕННЫХ И БОЛЬНЫХ.

Ввиду того, что все его различные предложения относительно посылки в Москву делегации для облегчения начала этой работы остались без ответа, Международный Комитет Красного Креста ограничивается сегодня предложением приступить к взаимной и одновременной посылке сведений о военнопленных и предоставляет себя в полное распоряжение в качестве посредника по обмену.

Международный Комитет Красного Креста одновременно с этой телеграммой направляет Вашему Превосходительству письмо, чтобы дать дополнительные сведения по всей совокупности вопроса.

ГУБЕР

Международный Красный Крест

«НЕ ОТВЕЧАТЬ».

Я прикусываю губу. Чаше бьется сердце. Мне становится понятно, что история, которую предстоит услышать, вряд ли окажется легкой. В этот момент чужое несчастье перемешивается с моим. Случается реакция, и срабатывает детонатор. Собранный наскоро мост вновь падает, и я вспоминаю о собственной жене. К горлу подкатывает комок. Сдавливает в груди. От нахлынувшего вдруг приступа начинает болеть пищевод. Я не хочу все это слушать — за последние месяцы я и так очень устал.

— Саша, с вами все хорошо?

— Да, кажется, да...

— Я хотела спросить, почему вы переехали сюда?

— Вы уже спрашивали...

— Я забыла.

— Я же говорил вам: мне кажется, что так будет лучше для моей дочери.

— Вы правда это говорили? Не помню. А что по этому поводу думает ваша жена? Женщины обыкновенно тяжело переносят переезды.

— А какая вам разница? — вдруг срываюсь я. — Вы же все равно ничего не вспомните!

— И все же...

— Моя жена не живет с нами...

— Давно?

— Уже шесть месяцев.

— Что случилось?

— Послушайте, а что вы лезете не в свои дела?! Кажется, вы хотели рассказать мне историю страха, а не узнать, почему я перебрался сюда. Я к вам в гости не напрашивался! Какое вам дело до того, что случилось у меня? Вам обязательно засунуть свой нос в соседские дела? А как вы тут устроились? А можно я взгляну? А почему вы переехали? А что думает ваша жена?

Я встаю. Оттолкнув картину, оказавшуюся у меня под ногами, иду к выходу. Взяв пакеты, я дергаю дверь и бросаю на прощание лишь грубое «Всего хорошего!» Соседский замок щелкает, и спустя мгновение я оказываюсь в собственной квартире. Пройдя в кухню, я раскладываю продукты и звоню маме. Счастливая бабушка рассказывает, что внучка

провела прекрасный день. Была тихой, совсем не капризничала и с интересом играла с дедом. «Кажется, — констатирует моя мать, — она будет спокойным ребенком».

«Вот и отлично», — думаю я.

Сделав бутерброд, я открываю бутылку водки. Рюмок нет, поэтому пью из горла. Пищевод по-прежнему болит, но теперь с каждым новым глотком начинает действовать прекрасная, притупляющая всякую боль анестезия.

Прижавшись к стене, я думаю о рассказе соседки. Как бы я поступил на ее месте? Вписал бы имя жены в русский список? Думаю, нет. Впрочем, дело тут вовсе не в моем благородстве, но в том только, что я не успел бы все так быстро просчитать. Молниеносные решения, хотя я и футбольный арбитр, не мой конек. Я поражен ее быстротой. Так на поле действуют лишь самые великие футболисты. Иногда один отданный мгновением раньше пас может решить исход игры. Воистину, люди в сталинскую эпоху отличались феноменальной способностью просчитывать собственные риски. Думаю, я бы в жизни не догадался собрать подобный витраж. За секунду понять, что пленение мужа может отразиться на будущем дочери... о нет, я бы точно всего этого не просчитал...

Подняв бутылку водки, я предлагаю самому себе выпить за мужество одной советской женщины, а также за то, что в подобных обстоятельствах моя история закончилась бы уже в 1942 году...

+

Как и все последние дни, мне снится Лана. Мы собираем чемоданы. Судя по плавкам и маскам, нам предстоит полет на море. То и дело я переступаю через вещи и целую жену. На ней тонкое летнее платье. Даже во сне я помню, что мы купили его в Париже...

Наше первое совместное путешествие. Я все опасался, что закончатся деньги. Мы встречались уже больше года, но Лана по-прежнему казалась мне женщиной из другого мира. Прекрасная дама, которая (я и сам не понимал почему) все еще терпела меня. Всякий раз, когда мы останавливались у того или иного ресторана, я с ужасом думал, что вот сейчас-то и опозорюсь. У меня была отложена сумма на один роскошный ужин, но я наивно полагал, что он, как это водится, должен случиться в последний день путешествия...

Чемодан собран. Я принимаюсь застегивать молнию, но в этот момент кто-то звонит в дверь. Этот назойливый гость все звонит и звонит, а я понимаю, что если сейчас не закрою чемодан, мы не успеем в отпуск. Я повторяю: «Сейчас! Сейчас!», но кто-то там, за дверью, продолжает трезвонить и наконец будит меня.

Я открываю глаза. Мне кажется, что я спал всего час, но большая стрелка против десяти. Доброе утро, приехали грузчики. Там, за дверью, диван, шкафы и стулья.

«Сейчас, ребята, одну минуту!»

Мастера начинают собирать мебель, и, посчитав себя лишним, я спускаюсь вниз с чашкой кофе.

На улице моросит мелкий октябрьский дождь. Взявшись за прутья, словно осужденные, на машину, из которой вытаскивают коробки, глазуют детсадовские ребята. Я на свободе — они нет. Мальчишки, судя по всему из старшей группы, наблюдают за всем происходящим молча и внимательно. В тапках на босу ногу я переступаю несколько луж и подхожу вплотную к забору. Протянув руку между прутьями, один из парней по-мужски приветствует меня:

— Мы сегодня ели Сталина!

— Что вы делали? — с улыбкой спрашиваю я.

— Ели товарища Сталина! — по-прежнему со всей серьезностью отвечает малыш.

— Это как?

— Я ел голову, но она невкусная — там одно тесто!

— А я ел ногу, шоколадную!

— А я погоны ел и медали!

— Это как, парни?

— У нас сегодня у Люды Куницыной день рождения. Ее папа принес торт в виде товарища Сталина... он в цветочках и в гробу был, с шоколадом.

— Во весь рост, что ли, торт?

— Да-да!

— Да нет! — начинают спорить мальчишки.

— Да-да!

— Да нет же! Наша воспитательница сказала, что была в Москве в Мавзолее и что размером торт больше похож на Ленина, потому что тот маленький...

— Но торт-то вкусный?

— Не-а, «Киевский», с грибочками, лучше!

Я улыбаюсь, выбрасываю сигарету и, сделав последний глоток кофе, треплю парня по голове. Это все, что нам нужно знать об истории: тиран, который десятилетиями наводил страх на миллионы собственных сограждан, одним осенним днем обязательно превратится в салат или торт.

Почувствовав холод, я решаю вернуться домой. Поднимаясь по ступенькам, к ужасу своему, я вижу соседку.

«Черт бы ее побрал», — думаю я.

— Доброе утро, Саша!

— Ничего себе! Вы прогрессируете...

— Это все красный крест!

— Слушайте, я хотел извиниться за вчерашнее. Простите меня, я вел себя, как последняя истеричка...

— Нет-нет, не извиняйтесь! Я все понимаю. Мне не следовало задавать вам все эти вопросы. Вы правы, я часто лезу не в свои дела. Знаете, за эти годы я стала безразличной к человеческим страданиям — все они кажутся мне чем-то самим собой разумеющимся. Лично я никогда не встречала счастливых людей. Мне кажется, что таких и не бывает. А горем меня, к сожалению, сложно удивить. Так вы меня простите, Саша?

— Хорошо... Только если вы простите меня...

Я прохожу мимо и начинаю открывать дверь, но за моей спиной вновь раздается соседский голос:

— И все же... знаете... меня заинтересовала одна деталь. Возможно, это обыкновенная оговорка, но уж очень интересная! Вы вчера сказали, что ваша жена ушла от вас шесть месяцев назад, верно?

— Можно и так сказать...

— Но при этом сколько вашей дочери?

— Три...

— Три месяца?

— Черт, да...

— Вот! Не знаю почему, но я запомнила, что вашей дочери, кажется, всего три месяца, хотя вы, по-моему, об этом не рассказывали...

— Рассказывал...

— Рассказывали, да? Ну что ж... Вылетело из пустой головы... Но вот видите, вспомнила же утром! Я вспомнила и подумала, что какая-то очень странная история получается: мамы нет уже полгода, а дочери исполнилось всего три месяца... Как же такое может быть?

«Старая бестия! — думаю я. — Не успела извиниться и тотчас сует свой нос куда не следует. Не буду же я стоять здесь, посреди лестничной площадки, и пересказывать ей все, что с нами произошло...»

— Когда-нибудь я обязательно расскажу вам, Татьяна Алексеевна, когда-нибудь... но только не сегодня, хорошо? Простите, меня ждут грузчики.

+

Вечером того же дня я еду к маме. Мы сидим в гостиной. Мама играет с Лизой, отчим, уставившись в телевизор, смотрит российские новости.

— Ты только послушай их, а! Еще пятнадцать лет назад с нами считался весь мир, а теперь? На чем мы летаем? На чем будем летать? Они скоро развалят весь авиапарк! Мы стали людьми второго сорта из страны третьего мира!

— Ты-то точно! — не отвлекаясь от внучки, шутит мама.

— Мам, я вчера познакомился с соседкой...

— С той старушкой?

— Ага.

— И как она тебе?

— Много интересного рассказала.

— Та женщина, риелтор, говорила, что соседка наша много лет провела в лагерях.

— Правда?

— В лагерях, в лагерях! Сперла, наверное, что-то, вот и села! — острит отчим.

— Гриша, смотри телевизор...

— Мам, и что рассказывала риелтор?

— Да ничего особенного. Сказала, что соседка у вас хорошая, что сидела в лагере, а потому не думайте долго, покупайте квартиру — приличных соседей теперь не так легко найти.

— Приличные соседи! У вас все, кто сидел, теперь приличные! Ты откуда знаешь, что она приличная? Может, она убила кого?

— Она в Москве в МИДе работала...

— А разве достойные люди работают в МИДе?! Там же одни шпионы! всю жизнь шушукаются, а потом договариваются с америкашками, детей своих к ним на учебу посылают, а сами...

Я молчу. Глядя на маму, я пытаюсь понять, зачем она переехала в Минск к этому кретину. Батя, конечно, тоже не подарок, но этот-то совсем лапоть. Красивая, с хорошим чувством юмора, господи, что она могла найти в этом человеке? Отчим же не понимает.

— Все разворовали! Все! Хорошо, у нас Батяка появился, он быстро порядок наведет! А в Россию бы Сталина! Он бы сейчас всех поставил к стенке, и дело в шляпе!

— Съели вашего Сталина.

— Что?

— Съели, говорю, вашего Сталина, невкусный он.

— Сань, ты о чем?

— Да так, ни о чем. Слушайте, дядя Гриша, я все хотел у вас спросить: а летчики пьют за штурвалом?

— Конечно, пьют!

— Но как? Вас же проверяют перед вылетом.

— Перед вылетом-то да, но во время-то и после нет! Нам стюардессы приносят. Думаешь, как мы с твоей мамкой-то познакомились?

— Ясно... Мам, слушай, я, наверное, сегодня не буду у вас оставаться. Надо к новому дому привыкать.

— Хорошо, милый, как знаешь. Ты, кстати, с работой что-нибудь решил?

— Да, обещали помочь.

Поцеловав маму и дочь, я выхожу на улицу. Вечерний Минск кажется не таким уж и страшным. Мне нравится, что здесь спокойно. Машины спрятались, люди, по возможности, тоже. Возвращаясь домой, включив плеер, я слушаю Венгерскую рапсодию Листа. Вспоминая все, что мне рассказала соседка, я думаю, что человеческая жизнь никогда не подорожает. Самая дешевая из вещей. Будут меняться аранжировки, но не мотив. Кровь по-прежнему будет литься, ибо так устроен человек. Кровь будет литься вечно, потому что, если кровь в организме вдруг остановится, человек умрет. Так говорит мой друг Паша.

В метро я рассматриваю людей и рекламные объявления. Яркий плакат настойчиво предлагает мне приобрести игровую приставку и прилагающийся к ней футбольный симулятор. «Недоработанная игра, — думаю я. — Странно, почему разработчики до сих пор не придумали режим, в котором вы можете быть арбитром? Сейчас есть возможность играть одному, можно играть с несколькими друзьями, более того, открыв пиво, вы вправе наблюдать за тем, как искусственный интеллект сражается сам с собой, но вот рефе-

ри... Неужели разработчики спортивных игр до сих пор не понимают, что быть арбитром — это одновременно и самый захватывающий, и самый сложный режим?..»

Ничего не меняется. Вернувшись домой, я вновь встречаю на лестничной площадке соседку. Стряхнув с куртки капли дождя, я понимаю, что она не узнает меня.

— Вы что, здесь весь день стоите?

— Вы кто?

— Меня зовут Александр. Я ваш новый сосед.

— Правда? Очень приятно познакомиться! А я Татьяна Алексеевна — это я нарисовала на вашей двери красный крест. У меня болезнь Альцгеймера. Пока страдает только короткая память, но совсем скоро я начну забывать и то, что случилось со мной на протяжении всей жизни.

— Мне очень жаль, — в который раз зачем-то повторяю я.

— Не переживайте! Со мной только так все и могло закончиться. — Соседка делает паузу, но в этот раз я не спрашиваю «почему».

— Так вы теперь будете здесь жить?

— Да.

— Один?

— С дочерью.

— А кем вы работаете?

— Я футбольный арбитр.

— Надо же! Должно быть, интересная работа! Мой муж очень любил футбол! Он чуть-чуть успел поболеть за «Спартак». Это сложно?

— Болеть за «Спартак»?

— Нет-нет, я имею в виду, быть арбитром? Быть судьей сложно?

— Иногда непросто, да.

— Все это давление, да?

— И это тоже, — облокотившись на перила, со вздохом отвечаю я.

— И как вас учат с этим справляться?

— Вам это действительно интересно?

— Конечно! Иначе зачем бы я спрашивала?

— Ну как учат... Когда вы только решаете стать арбитром, вам вручают книжечку с правилами и рассказывают об ответственности. Вам объясняют, что, не участвуя в игре, вы влияете на ее ход. В общем, некоторое время вам рассказывают довольно банальные вещи, а потом в один прекрасный день разъясняют одну простую истину: «Срешь?! Сри уверенно!»

— И правда, хорошая истина... Жаль только, что ее в большей степени усваивают наши руководители, а не судьи...

— Тут с вами сложно не согласиться. Ну да ладно, уже поздно. Добрых снов вам, Татьяна Алексеевна!

— И вам всего хорошего, Саша!

— Кстати, я тут купил кое-что из продуктов. Здесь молоко, хлеб, сахар — если вам нужно...

— Спасибо, но я не ем сахар — у меня диета красоты!

— Ну а все остальное?

— А все остальное, Александр, я смогу купить себе сама — мне всего девяносто один...

— Девяносто один и полное непонимание, где находится магазин.

— Не грубите мне, молодой человек!

— Ладно-ладно, не буду! Но если что — вы обращайтесь, пожалуйста, я всегда рад вам помочь.

— Правда?

— Да.

— Тогда я действительно хотела бы вас кое о чем попросить. Вы же не откажете?

«О черт...» — думаю я.

— Вы не заглянете ко мне?

— Да-да, конечно...

Вновь оказавшись в ее квартире, я решаю не повторять вчерашних ошибок. Татьяна Алексеевна проходит дальше, но я остаюсь в коридоре. Спустя несколько минут она возвращается с листком бумаги.

— Что это?

— Эпитафия. Я бы хотела попросить вас выгравировать эти слова на моей могиле. Я не знаю, кто похоронит меня. Раньше я рассчитывала на Ядвигу, но она теперь сильно болеет.

Развернув бумажку, я читаю четыре слова и, улыбнувшись, обещаю, что обязательно выполню ее просьбу.

— Значит, я могу на вас рассчитывать?

— Да, не переживайте.

— А с кем вы собираетесь здесь жить?

— Один, — отвечаю я.

— Один? А как же ваша жена? Вы такой красивый — мне почему-то кажется, что у вас обязательно должна быть жена.

— Черт, Татьяна Алексеевна, прошу вас, не начинайте!

— А что я такого спросила? Так есть у вас жена или нет?

— Да... была.

— Была да сплыла, да?

— Черт, да!

— Что ж вы нервный-то такой, Саша, а? Все у вас черт да черт. Как вы познакомились?

— А какая разница?

— Разница, милый мой, большая! Когда люди знакомятся — это всегда прекрасно, а вот беды случаются позже...

— Да как все познакомились...

— А «как все» — это как?

— На вечеринке, на обыкновенной вечеринке.

— Здесь, в Минске?

— Нет, в Екатеринбурге.

— Ну так расскажите!

— А я не хочу...

— А я прошу вас!

— Татьяна Алексеевна, да говорю же, что как все познакомились! Можно я пойду?

— Вас старуха просит — вам сложно? Вот расскажете, а потом идите хоть на все четыре стороны!

Я тяжело вздыхаю, ставлю на пол пакет с едой и, прижавшись к двери, говорю:

— Я вообще не собирался туда идти, но меня друг пригласил. Сказал, что будут крутые девчонки...

— И она оказалась самой крутой, да?

— Да. На самом деле это была не обыкновенная вечеринка — там собирались местные знаменитости: парень, который пел про победу Аргентины над Ямайкой; поэт, написавший «Прежде чем на тракторе разбиться, застрелиться, утонуть в реке». Музыкант, чье творчество мне никогда не нравилось, оказался на удивление приятным парнем, а вот талантливый поэт, напротив, — тяжелым пассажиром. Стихи его мне очень понравились, но вел он себя странно.

— Это нормально для поэта.

— Его поведение было нормальным для шпаны, ну да ладно. Признаться, я довольно странно себя чувствовал. Знаете, все эти провинциально-светские беседы... тот еще коктейль вашего Молотова. В общем, я потоптался немного и уже было собирался уходить, как вдруг ко мне подошла она.

«Покидаете нас?»

«Да, завтра на тренировку», — ответил я.

«Вы спортсмен?»

«Не совсем. Я — арбитр».

«В самом деле? Значит, вы должны знать, как важно соблюдать правила».

«И?»

«И не уходить с поля раньше времени».

«Меня здесь и быть-то не должно было. Друг дозаявил меня в самый последний момент».

«Значит, своим будущим замужеством я обязана вашему другу?»

«Вот это да! — подумал я. — Совершенно потрясающая женщина, знает меня меньше минуты, а уже флиртует».

«Кажется, мы совсем не знакомы», — смущенно заметил я.

«С моим первым мужем я была знакома с первого класса — это же спасло наш брак. Не хотелось бы наступать на те же грабли».

«Поэтому вы решили выйти за меня?»

«Да, а почему бы и нет? Вы скромный, симпатичный, к тому же, судя по всему, часто бываете в разъездах».

«А вы собираетесь мне изменять?»

«Нет, никогда. Я неудачно пошутила...»

«Сбежим отсюда?»

«Я уж боялась, вы не предложите...»

Так и познакомились. Обыкновенная прогулка. Смущенный он, смелая она. Я пытался шутить, и Лана, кажется, даже смеялась. Хороший вечер. Несколько часов, которые в фильме показали бы одним длинным кадром. Музыка светлой радости, контрабас и щеточки. Я обгонял ее, что-то рассказывал о футболе, и она улыбалась. Переулки, рука в руке и пиджак на крючке указательного пальца. Следующим же вечером Лана переехала ко мне.

— Лана — это сокращение от Светлана?

— Нет, это такое славянское имя.

— И что оно означает?

— Земля.

— И Лана была красивой?

— Очень! После нашей первой ночи, по пути на игру, я думал, что она похожа на последнее желание. Если бы меня приговорили к высшей мере наказания, если бы только согласились исполнить мою последнюю волю — я бы попро-

сил еще раз посмотреть на нее. Закрывая глаза, я улыбался и понимал, что отныне бесстрашен, что нет больше силы, способной меня напугать, как нет смерти, потому что есть Лана. Я не мог поверить собственному счастью. Когда Лана впервые поцеловала меня, я подумал, что произошла ошибка. Метровый офсайд! Восемьдесят тысяч человек на стадионе видели, что я влез в положение вне игры, но линейный арбитр почему-то не поднимал флажок. Черт, Татьяна Алексеевна, это было так славно...

— Ну а что потом?

— А потом счастье, совпадение. Мы говорили и ни в чем не разочаровывались. Болтали и соглашались, улыбались и радовались. Лана забеременела в ноябре двухтысячного, во время нашей поездки в Париж. Ну разве может быть что-нибудь прекраснее и пошлее?

— И?

— Что и?

— Вы сказали, что жена сплыла...

— Это вы сказали.

— Хорошо, я спрошу еще раз: что случилось с вашей женой?

Я замолкаю. Опускаю глаза. Смотрю на собственную грязную обувь. Глупость! Глупость покупать замшевые ботинки осенью. И недели не проносил, а они уже выглядят так, будто им несколько лет. К тому же холодные... Я думал, что осень в Минске будет мягче... «Буду носить их на теплый носок», — думаю я.

— Александр!

— Да?

— Я спросила, что случилось с вашей женой?

— Так я ведь сказал вам — она забеременела...

— И это конец истории?

— Середина. Вместе с чудесной новостью пришли первые боли. Исследование показало, что у Ланы рак. Я помню, как мы сидели в кабинете моего друга, того самого, что пригласил меня на вечеринку, и, рассматривая снимки, он тихо объяснял, что ситуация безнадежна. Почти как любовь. Теперь я понимаю, что в тот день меня поразила не диагноз даже, но то спокойствие, с которым он говорил.

«И сколько мне осталось?» — спросила Лана.

«Сложно сказать. Мы знаем много удивительных случаев, но я бы не закладывался больше чем на три месяца...»

«Три месяца?»

«Да... ну, максимум четыре. Опухоль неоперабельная. Здесь, собственно, нечего предпринимать. Выражаясь понятным языком, раковые клетки съедят твой мозг. Единственное, что я сейчас вам могу посоветовать, — позаботиться об обезболивающих. К счастью, в Екатеринбурге с этим проблем нет».

«Да, мы все найдем. Значит, ты прогнозируешь пять-шесть месяцев?»

«Я сказал три-четыре».

«Да, милый, он сказал три-четыре».

«Какой у тебя срок, Лан?»

«Пара недель...»

«Мы сделаем аборт...»

«Нет!»

«Что значит нет?»

«Я не хочу делать аборт...»

«Послушай, это не вопрос выбора. Я бы мог построить эту беседу иначе. Вывернуть все как варешку и начать с того, что следует сделать аборт, потому что беременность может ухудшить твоё состояние и даже привести к смерти. Ты бы догадалась, что диагноз плохой, но я не думаю, что так следует говорить с пациентом и, тем более, с близким другом. К сожалению, в твоём случае момент упущен. Точнее, и не было никакого момента».

Я помню, как мы сидели на скамейке возле больницы. Я держал Лану за руку и пытался понять, почему беда свалилась именно на нас? Болело в груди, к горлу подкатил ком. Чтобы не расплакаться, я водил языком за щекой.

«Мне кажется, мы должны попробовать...» — спокойно сказала Лана.

«Конечно! Я уверен, что у нас получится».

«Нет, милый, я не об этом. Все ведь и так понятно... Я о другом — мне кажется, я успею родить ребенка...»

«Да, но...»

«Что но?»

«Химиотерапия и все лекарства, которые ты теперь будешь принимать... Беременным и так стараются не давать ничего лишнего, а на тебя обрушится настоящая химическая атака!»

«А я не буду ничего принимать. Проживу ровно столько, сколько бог даст».

«Почему бы нам не попробовать побороть болезнь, а потом сделать еще одну попытку?»

«Потому что ее не побороть. Пройдет сто лет, и люди будут смеяться над нами, возможно, жалеть. Я уверена, что когда-нибудь рак будут лечить легко, но вот видишь, не сегодня, не теперь. Прошу тебя, давай не будем говорить об этом. Ты слышал, что сказал Максим. Не будет никакой второй попытки, не будет борьбы. Ты не можешь пробежать сто метров за семь секунд, а я не смогу обмануть смерть. Дай мне хотя бы шанс побыть мамой! Я всю жизнь об этом мечтала! Пожалуйста, не бросай меня...»

Лана сжала мою руку, и я замолчал. В моей жизни были только университет и судейские курсы. Таких ситуаций мы не разбирали. Задача без правильных решений. Я соскребал краску со скамейки указательным пальцем и слглатывал слюну. Лана гладила себя по животу, и, опустив глаза, я смотрел на трещины в асфальте.

Следующим же утром мы отправились в загс. Подали заявление и вновь поехали к врачу. Лана объявила, что, несмотря ни на что, хочет сохранить ребенка. Макс постарался быть спокойным:

«Дело ваше, но я еще раз объясняю, что вы не успеете. Вместо одной смерти будет две. Мне очень грустно об этом говорить, но все закончится гораздо раньше, чем вы можете предположить...»

«Все вообще всегда заканчивается гораздо раньше, чем мы можем предположить...»

Лана не отступала. Сказала, что это ее окончательное решение.

«Если ты не поможешь нам, я найду другого врача!»

«Я с удовольствием бы сам отрекомендовал тебя, но это не тот случай».

«Может, мне куда-нибудь уехать? В Англию или Швейцарию?»

«Нет... не думаю, что в этом есть смысл».

«Но они же наверняка могут продлить мою жизнь на какие-то полгода?»

«Нет, никто не сможет...»

«И что ты мне предлагаешь? Лечь тут и умереть? Я ведь не за себя прошу!»

«Я предлагаю сейчас сделать аборт, а дальше мы сделаем все, чтобы облегчить твою боль...»

«Какую боль? Физическую?»

Лана не согласилась. Спустя месяц мы расписались. Это была очень скромная церемония. Без белого платья и гостей. «Залетела, наверное», — подумала опытная сотрудница загса. Все так, да. Мы продали мою машину, и этих денег хватило на необходимые лекарства. Здесь нужно сказать, что Максим очень помог нам. Вы же знаете, врачи, как правило, не любят тратить время на списанных пациентов. Если за кого и браться — то только за интересных. Лана таковой не была. С ней было все ясно. Более того, судя по всему, болезнь опережала график. Великая предсказуемость. Коэффициент на победу один к миллиарду. Впрочем, друг сумел убедить коллег, что моя жена заслуживает достойной смерти.

«Поверьте, она очень хороший человек».

Хорошие люди достойны спокойной смерти... Так у нас появилась палата. Крохотная, но своя. Макс дал добро, и, сделав косметический ремонт, я повесил на окна жалюзи

и перетащил из дома книги. Лана была молодцом. Всякий раз заходя в палату, я заставал жену в хорошем расположении духа. Она не жаловалась и не хандрила. Безусловно, мы часто говорили на тяжелые темы, но даже в такие моменты Лана находила в себе силы шутить.

«Знаешь, я сегодня прочла у Солженицына, что рак любит людей, что если кого полюбил, того уже никогда не опустит. Выходит, у меня с ним любовь. Выходит, я собираюсь тебе девочку подарить, а сама налево гуляю. Ты ведь меня простишь, милый, да?»

«Очень смешно!»

Теперь я понимаю, что часто не мог найти нужных слов. По вечерам, когда жена засыпала, я отправлялся в бар или на домашние вечеринки. Все тот же поэт читал:

Не покидай меня, когда
горит полночная звезда,
когда на улице и в доме
все хорошо, как никогда.

Ни для чего и ни зачем,
а просто так и между тем
оставь меня, когда мне больно,
уйди, оставь меня совсем.

Пусть опустеют небеса.
Пусть станут черными леса.
Пусть перед сном предельно страшно
мне будет закрывать глаза.

Пусть ангел смерти, как в кино,
то яду подольет в вино,
то жизнь мою перетасует
и крести бросит на сукно.

А ты останься в стороне —
белей черемухой в окне
и, не дотягиваясь, смейся,
протягивая руку мне.

Собравшиеся лениво аплодировали, и я спрашивал у Макса, как мне разговаривать с женой. Друг успокаивал и объяснял, что даже врачи не знают, что говорить в таких ситуациях. «Ты просто кивай и молчи. Это не так уж и сложно».

Следующим же утром, войдя в палату, я застал жену сидящей на подоконнике. Лана поглаживала живот и спокойно говорила дочери:

«Не волнуйся, милая, папа тебя заберет... А вот, кстати, и он! Посмотри, какой он у нас красивый!»

Лана шептала: «Папа тебя заберет», и в этих словах было столько спокойствия и уверенности, что они передавались даже мне. Я вытирал мокрые глаза и подходил к жене:

«Вот же ты дурень! Плакал бы здесь! Если бы вам, мальчишкам, с детства не запрещали плакать, этот мир был бы гораздо гармоничнее и добрее. Кстати, про этот мир... Нам с тобой нужно решить, где мы встретимся — я же должна вас где-то ждать...»

«Ну... наверное, там, на небесах, сложно разминуться...»

«Нет-нет! Так нельзя! Неужели ты не понимаешь, что нужно точное место?!»

«Ты же помнишь — я не мастер выбирать места...»

«Может быть, Марс, а? Что скажешь?»

«Да, кажется, неплохая идея. Почему бы и нет?»

«И еще мы должны подумать про имя... Ты хочешь, чтобы мы выбрали его вместе или ты уже потом, сам?»

«Я бы, наверное, хотел, чтобы ты выбрала имя.»

«Может быть, Надя, а? Что, если ее будут звать Надежда?»

«Лан, ты издеваешься?! Хватит так шутить!»

«Ну ладно-ладно, а чего ты у меня такой серьезный?! У тебя что — жена умирает?»

«Лан, иди в задницу!»

«Я уже в ней... Так что с именем?»

«Может, назовем ее Ланой?»

«Как меня? Нет! Давай только без этого! Появится новый человек, а не продолжение старого. Пообещай мне, что будешь сильным, что сможешь с самых первых дней с этим жить...»

«Обещаю...»

«Вот и славно, а теперь уходи, пожалуйста, я должна побыть одна.»

«Уже?»

«Да.»

Когда начинались боли — я выходил за дежурной сестрой и не возвращался в палату в течение нескольких часов. Лана не хотела, чтобы я видел ее в таком состоянии.

Всю зиму мы провели в палате. Весной я много судил. Из-за нашей погоды, как правило, в залах и мини-футбол. Любительские, взрослые и юношеские турниры. Лишние деньги мне бы не помешали. Во время одного из таких кубков, как раз в перерыве, позвонил Максим и сказал, что Лана умерла. Пятый месяц... Друг сообщил, что соболезнует, и объяснил, что все прошло хорошо...

«Я могу досудить игру?»

«Да, все в порядке. Можешь спокойно раздавать свои красные карточки и после игры приезжать».

Красная карточка. Удаление.

Я помню, что в тот день обслуживал любительский турнир, организованный местной радиостанцией. В моем матче сражались команды каких-то семинаристов и милиционеров. Силы правопорядка, как это у нас и заведено, чувствовали свою безнаказанность, а потому постоянно грубили и включали локти. Семинаристы терпели, но во втором тайме стали фолить в ответ. В какой-то момент я задумался и упустил игру. Как результат, на поле случилась настоящая драка.

У футболиста всегда есть право на ошибку. Он может отдать неточный пас, пробить мимо ворот или «обрезать» — у арбитра же такой возможности нет. Если ты рефери, то должен понимать, что всегда находишься в центре конфликта. Когда ты выходишь на поле — у тебя двадцать два соперника. И ты играешь против них. И весь вопрос только

в том, кто кого передумит — или ты заставишь их играть по своим правилам, или они уничтожат тебя. Игроки как народ, если только почувствуют капельку крови — тебе хана.

Самое важное для арбитра — выбрать методику наказания. К сожалению, понимание уровня допустимой жестокости приходит к нам лишь с годами... Игроки должны четко знать, каков допуск: за что ты будешь их карать, а за что нет. Я называю это восприятием справедливости. Да-да, все как у тирана или бога. К каждому твоему решению футболисты относятся чрезвычайно болезненно. Им кажется, что ты засуживаешь их. Важно найти в команде вменяемого человека и через него объяснять остальным, что происходит на поле. Игра есть живой процесс, и не всегда нужно быть на стороне закона — гораздо важнее правильно применять закон. Если судья будет примитивно следовать правилам — поверьте, очень скоро он выпустит из рук нить игры. Собственно, в тот день так и произошло. Думая о смерти жены, я не вникал в суть происходящего, а буквально следовал правилам. Впрочем, когда началась драка, я просто остановил матч, раздал карточки и, составив протокол, ушел в душ.

Внешне ничего не изменилось. Лана будто бы и не умирала. Приборы продолжали работать, и я видел, что у моей жены по-прежнему есть пульс. Человек умер, но сердце бьется...

Войдя вслед за мной, Макс некоторое время постоял за моей спиной и лишь затем, взяв меня под руку, вывел из па-

латы. Мы сели напротив. В коридоре было так тихо, что я слышал, как бьется сердце моей только что скончавшейся жены. Правой рукой, словно платком, Максим протер глаза и спокойно заговорил:

«Значит, сейчас происходит все, о чем мы с тобой говорили последние недели. Лана скончалась. Фактически Лана умерла. Все, ее мозг погас, перестал работать, и на этом точка. Как личности Ланы больше нет, поэтому все происходящее не должно вводить тебя в заблуждение. Мы больше никогда не вернем ее, и разница сейчас лишь в том, что похороны ее состоятся через несколько месяцев, а не завтра, ты это понимаешь?»

«Да», — тихо ответил я.

«Хорошо. Значит, с этим понятно. Теперь о том, что касается девочки. Она в хорошем состоянии. Мы не были до конца уверены, но сердце Ланы продолжало биться, поэтому мы решили рискнуть. Попытаемся спасти девочку. Все будет происходить ровно так, как я тебе описывал. Мы будем поддерживать жизнь в организме в течение нескольких месяцев, будем помогать работе сердца и почек, будем следить за всеми процессами в Ланином организме. Еще раз: работу органов будем поддерживать искусственно — применим аппарат вентиляции и очень сильные циркуляционные лекарства. Медсестры будут следить за плодом двадцать четыре часа в сутки, и когда ребенок будет готов — мы сделаем кесарево сечение».

«Значит, через два-три месяца?»

«Да, как только это будет возможно».

«А как ребенок будет чувствовать себя? Он понимает, что мама умерла?»

«Нам сложно ответить на этот вопрос. Мы никогда не делали ничего подобного».

«Но Лана же не будет разлагаться?»

«Нет. — Максим едва заметно улыбнулся, но не ситуации, конечно, а моему дилетантскому вопросу. — Я же тебе все сто раз объяснял, дурачина! Умер только мозг. Все процессы в организме будут поддерживаться искусственно, и Лана, если так можно выразиться, будет выглядеть словно во сне. Думаю, будет славно, если ты не перестанешь заглядывать сюда».

— Погодите, Саша, я не совсем поняла... Значит, ваша жена умерла, но врачи приняли решение сохранить ребенка?

— Да. Максим думал, что Лана умрет в конце мая или начале июня. Когда в июле, несмотря ни на что, Лана была еще жива, стало понятно, что за жизнь девочки можно побороться. За несколько недель до смерти Ланы Макс вошел в палату и сказал, что раз плод на таком сроке, он хочет кое-что предложить нам. Максим ничего не обещал, но объяснил, что мы можем попробовать. По его словам, раковые клетки затронули только мозг, а значит, все остальные органы даже после смерти мозга с большой долей вероятности смогут продолжить свою работу.

— И Лана согласилась?

— Да, она была счастлива. Собственно, о большем мы теперь не могли и мечтать. Со временем стало понятно, что Лана не дотянет даже до семи месяцев, и теперь мы надеялись только на врачей.

— Боже...

— Вечерами, возвратившись домой, я включал телеканал «Дискавери» и смотрел документальные фильмы

о покорении космоса. Известный актер рассказывал о подготовке новых крестоносцев и экспедиции на Марс. Это отвлекало и завораживало. Уже следующим утром, возвратившись в палату и сев рядом с женой, под аккомпанемент приборов я рассказывал дочери, что путешествие на Марс более чем возможно. Я рассказывал, что марсианские сутки составляют 24 часа 37 минут 35,244 секунды и это очень близко к земным. Аппараты продолжали пикать, и я рассказывал, что на Марсе, как и на Земле, есть смена времен года, а на их экваторе бывает до +20. У Марса, продолжал я, есть атмосфера и вода. В общем, можно жить, ребята, можно жить.

Спустившись во двор больницы, я задираю голову, смотрел на пролетающий самолет и представлял, что однажды, быть может, лет через двадцать, дочь моя отправится покорять Марс. Я представлял, что спустя четверть века, когда будут решены последние из нерешенных проблем, когда фармацевты предпочтут зарабатывать на чем-нибудь новом, а исчерпавший финансовый потенциал рак будут лечить, подобно насморку, наша девочка возглавит первую экспедицию на Красную планету и найдет там маму.

Почему? Потому что несколько недель назад мы договорились об этом.

— Это было тяжелое время?

— Непростое. Больше похожее на сон. Когда по городу поползли слухи о смерти Ланы — стало тяжелее. Едва ли не каждый день мне приходилось обсуждать случившееся с разными людьми. В больницу стали приходить ее друзья и родственники. Все они хотели проститься с Ланой, но, к счастью, Максим запретил пускать их дальше приемного

покоя. Приходили журналисты и, кажется, обыкновенные зеваки, которые выдавали себя за Ланиных старых друзей. Как-то раз завалился ее бывший. Он положил на стул гвоздики и обнял меня так, будто мы дружили всю жизнь. Хренов актер. Человек, от которого Лана ушла, вдруг вывалил на меня поток собственных переживаний, из которых следовало, что он никогда никого так не любил. Напоследок этот кретин проямлил что-то вроде того, что чувствует, что этот ребенок в какой-то степени и его...

На следующий день пришел мой отец. Несколько минут он говорил на отвлеченные темы, после чего озвучил единственный волновавший его вопрос:

«Что ты будешь делать?»

«В каком смысле, бать?»

«Надо бы тебе хорошенько подумать обо всем, Сань...»

«А над чем тут думать?»

«Говорю же: над всем...»

«Ты что, не хочешь стать дедом?»

«Я-то, может, и хочу, но какая-то странная ситуация получается... Люди разное говорят...»

«А что люди говорят?»

«Что нехорошо это все...»

«А что здесь нехорошего-то?»

«Ну не по-людски это как-то...»

«Жизнь спасти не по-людски?»

«Да нет же... Ты не перебивай меня... Выслушай спокойно... Лана же умерла... Господь призвал ее к себе... выходит, призвал к себе сейчас и вместе с девочкой, а вы воле его противитесь...»

«Бать, ты чего несешь?»

«А что такого? Сань, давай прямо: я понимаю, что для тебя... да для всех нас это большая беда, но нельзя же так! Мы же знаем, что уже через два часа после смерти в организме начинаются необратимые процессы...»

«Ты давно у нас врачом стал?»

«Я, может, врачом и не стал, но понимаю, что вы тут какой-то ерундой занимаетесь. Ты сам посуди: каково это-му ребенку будет житья? Во-первых, без мамки, во-вторых, в школе, когда узнают о ее судьбе, — ты же сам прекрасно понимаешь, что затюкают же!»

«Не затюкают! Я уже решил, что мы уедем отсюда...»

«Куда вы уедете?»

«Да хоть куда...»

«Ну не знаю... Решать, конечно, тебе, но ты подумай хо-рошенько. Все-таки, может, лучше схоронить Лану, а?»

«Ты предлагаешь ребенка заживо похоронить?!»

«Как можно похоронить того, кто еще не родился?»

«Бать, девочка там, внутри, и она жива».

«Но если вы отключите Лану от аппаратов, она сразу умрет».

«Так ты предлагаешь ее убить?»

«Я предлагаю поступить по-людски. Сам посуди, даже сейчас, когда мы тут с тобой спорим, она не похоронена. А как ее душа может обрести покой, если мы так поступаем? Ты понимаешь, что взял жену в плен собственного горя?»

«Я понимаю, что ты находишься в плену собственного невежества, бать».

«Злишься?! Я же спокойно пришел поговорить. Я понимаю, что первый год тебе тяжело будет, но что уж тут поделаешь — такой уж твой крест».

«Бать, спасибо, что зашел».

Вслед за отцом приходил батюшка. Ничего хорошего от этого визита я не ожидал, но, к счастью, ошибся. Батюшка оказался человеком добрым и спокойным. Он пришел поддержать меня и, к удивлению моему, был отзывчив:

«Сейчас, Александр, люди вам многое будут говорить, возможно, даже подкреплять свои глупости какими-нибудь цитатами из Писания, но вы на это дело внимания не обращайтесь. Вы молитесь, молитесь, Александр! Вы молитесь, и я буду молиться за вас! Вы знаете, что ничего плохого не делаете, напротив, спасаете новую жизнь, — а это единственно важное и ничего важнее этого нет!»

«Спасибо, отец...»

«Отец Сергей...»

«Спасибо, отец Сергей! Жаль только, я не очень верю в вашего шефа».

«Это я понимаю... это ничего... я буду молиться за вас! Вы, главное, не сдавайтесь!»

Операция прошла успешно. Лиза родилась весом чуть больше килограмма, и ее сразу же поместили в отделение интенсивной терапии. «Теперь ждем заново, — похлопав меня по плечу, сказал Макс. — А вообще-то я тебя поздравляю, отец!»

Тридцать дней дочь была подключена к аппарату, еще месяц провела в больнице. За это время я начал подготовку к переезду в Минск и похоронил жену. Как бы странно это ни прозвучало — похороны мне понравились. Это была очень спокойная и достойная церемония. Никто не кричал, не заливался слезами. Я сейчас не вспомню точно, но мне показалось, что отец Сергей произнес какие-то простые и понятные слова...

— Саша... — шепчет Татьяна Алексеевна, — простите меня! Я старая дура! Вы правы, я вечно лезу не в свои дела...

— Да нет... ничего... ерунда...

Мы сидим в коридоре. Молча. Я и моя соседка. В одиночной лампочке мигает свет. Какое-то время мы безмолствуем, затем Татьяна Алексеевна зачем-то говорит:

— Вы сильный человек, Саша. Даже представить сложно, что вам пришлось пережить...

— Глупости...

— Да, поверьте мне! Я многое видела! Я понимаю, что вы сейчас чувствуете...

— Ну, может, и так... Не знаю... Слушайте, я вот о чем хотел вас спросить...

— Да?

— Я хотел спросить... как вы попали в лагерь.

— Откуда вы знаете, что я была в лагере?

— Вы мне рассказывали.

— Правда? Я совсем этого не помню...

— Это случилось в 42-м, когда пришли списки?

— Я и про списки вам рассказывала?

— Да.

— Нет, в 42-м они не тронули меня. В 42-м мне повезло. Ничего не произошло. Живи как жила. Иди на работу, Тата, иди на работу, ну что ты стоишь?!

Татьяна Алексеевна продолжала трудиться в НКВДе, и после встречи с каким-нибудь посланником секретарь Лозовского (чей почерк она ненавидела) бросал на ее стол очередной «дневник» разговора. Скрывая собственное волнение, она набирала еще один, тысяча какой-нибудь внутренний документ:

**ПРИЕМ
ШВЕДСКОГО ПОСЛАНИКА
АССАРССОНА**

6 июля 1942 г.

АССАРССОН КАК-ТО МЯЛСЯ, НЕХОТНО ГОВОРИЛ НА ЭТУ ТЕМУ. ОН СКАЗАЛ, ЧТО ТАКЖЕ НЕ ДОВЕРЯЕТ ФАШИСТАМ, А ЗАТЕМ ЗАЯВИЛ, ЧТО ОН ХОЧЕТ ПЕРЕГОВОРИТЬ СО МНОЙ ПО ДРУГОМУ, БОЛЕЕ ОБЩЕМУ ВОПРОСУ. ПАПА РИМСКИЙ ПРОСИЛ ШВЕДСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБРАТИТЬСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ВАТИКАНА ИНФОРМАЦИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ПОЛОЖЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ГЕРМАНИИ И НЕМЕЦКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В СССР. ПАПА РИМСКИЙ УВЕРЕН, ЧТО ОН ПОЛУЧИТ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ОТВЕТ ОТ ГЕРМАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, И НАДЕЕТСЯ ТАКЖЕ НА БЛАГОПРИЯТНЫЙ ОТВЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА СССР. АССОРССОН ДОБАВИЛ, ЧТО ПОСОЛЬСТВО ОХОТНО ВЗЯЛО БЫ НА СЕБЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВО В ЭТОМ, ПРИЧЕМ ОН ПОЛАГАЕТ, ЧТО СОГЛАШЕНИЕ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ПРОИЗВЕЛО БЫ ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ТАК ЭТО КАК ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИМ И ГУМАННЫМ.

Я ответил Ассарссону, что передам его заявление своему правительству, но, по моему личному мнению, это предложение неприемлемо. Мы в данном случае имеем дело не с обычным правительством, а с бандитами и убийцами, которые истязают, пытаются, убивают военнопленных, стариков, женщин и детей. Эти убийцы нарушают все нормы международного права, но они, однако, не против использовать международное право в своих интересах. Я сомневаюсь, что Советское правительство пойдет на это предложение. С этими гангстерами даже и через посредство Ватикана нельзя иметь никакого дела.

Ассарссон начал меня уговаривать, что в наших интересах пойти на это предложение святого отца, что каковы бы ни были причины преступления германских фашистов, но ведь таким образом можно будет получить информацию и дать сведения тем русским семьям, которые хотят знать, в каком положении находится их близкие

На это я ответил ему, что нам близки страдания советских людей, но с убийцами, стоящими во главе Германии, нельзя иметь дело, потому что они могут сообщить на запрос, что такой-то жив, зная заведомо, что гестаповцы его убили уже много месяцев тому назад.

Ассарссон начал убеждать меня, что это вопрос небольшой и мы сделали бы большое общечеловеческое дело, согласившись на это.

Я ответил ему, что это вопрос не маленький, это вопрос принципа. Когда гитлеровское правительство убивает сотни тысяч военнопленных, истребляет гражданское население, то с таким правительством нельзя вступать в какие-либо отношения. Я снова подчеркнул, что это мое личное мнение, и обещал передать предложение шведского правительства моему правительству.

ПРОЩАЯСЬ, АССАРССОН ЗАМЕТИЛ, ЧТО УХОДИТ ОТ МЕНЯ ОГОРЧЕННЫМ.
НА ЭТОМ ПРИЕМ ЗАКОНЧИЛСЯ.

Времени скучать не было. Завод тайн, мануфактура секретов. Помощник Лозовского появлялся вновь и вновь и, протянув ей очередной лист, давал десять минут «на все про все». Татьяна Алексеевна протирала глаза и продолжала работать. Так, день за днем, она печатала документы и, опираясь на все в них изложенное, пыталась представить, в каком положении находится ее муж.

СССР

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
НАЧАЛЬНИКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮРО
ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ УЧЕТУ ПОТЕРЬ
ЛИЧНОГО СОСТАВА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ АРМИИ

ПРЕПРОВОЖДАЮ ВАМ ГЕРМАНСКИЕ, РУМЫНСКИЕ И ИТАЛЬЯНСКИЕ СПИСКИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И СПИСКИ УМЕРШИХ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ, ПОЛУЧЕННЫЕ НКВД ЧЕРЕЗ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА.

ОБРАЩАЮ ПРИ ЭТОМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТОТ ФАКТ, ЧТО НА НЕОДНОКРАТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КРАСНОГО КРЕСТА ОБ ОБМЕНЕ СВЕДЕНИЯМИ О ВОЕННОПЛЕННЫХ С НЕМЦАМИ И ИХ СОЮЗНИКАМИ МЫ НЕ ОТВЕЧАЕМ. ЭТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО ВАМ НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ СПИСКОВ И НИ В КАКУЮ ПЕРЕПИСКУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ КОМИТЕТОМ КРАСНОГО КРЕСТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ НЕ ВСТУПАТЬ.

Одновременно сообщаю, что обмен, по соглашению воюющих, военнопленными, особенно тяжело ранеными, предусматривается рядом международных конвенций, например, Гагской конвенцией 1907 г. о законах и обычаях сухопутных войн — ст. 14 приложения к этой конвенции; Конвенцией 1929 г. о военнопленных — ст. ст. 68 и 72 (тексты указанных статей этих конвенций прилагаются).

Однако, ввиду грубого и систематического нарушения Германии и ее союзниками международных законов и обычаев войны, а также соответствующих договорных обстоятельств, мы не реагируем на обращение к нам по этому вопросу и никаких переговоров и переписки относительно обмена военнопленными не ведем ни с Германией, ни с ее союзниками.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- **Германский список советских военнопленных на 297 чел. (Один список).**
- **Румынские списки советских военнопленных на 640 чел.**
- **Итальянский список советских военнопленных на 117 чел. (14 листов).**
- **Общие списки умерших советских военнопленных на 17 чел.**
- **10 схем могил.**
- **Выдержки из международных конвенций, упомянутых в тексте.**

Алексея в новых списках не было. Ни среди пленных, ни среди мертвых. Идет война, Таня, не время унывать! Приходи на работу, храни свою тайну и день за днем набирай:

Товарищу Молотову В. М.

Международный Красный Крест сообщил, что БРИТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗРЕШАЕТ ЗАКУПАТЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В АФРИКЕ ДЛЯ ПОСЫЛОК РУССКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ В ГЕРМАНИИ И ПЕРЕВОЗИТЬ ЕГО НА СУДАХ МЕЖДУНАРОДНОГО КРАСНОГО КРЕСТА. ФОНДЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТИХ ЗАКУПОК, МОГУТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МККК БАНКОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ В БАЗЕЛЕ.

Международный Красный Крест просит нас сообщить свои соображения по этому поводу. Полагаю, что по примеру вашего решения в связи с недавним предложением о распределении пожертвованного сахара среди русских военнопленных в Германии и Румынии (см. приложение) — и на это новое обращение МККК отвечать не следует.

Вышинский

+

В 1943 году Ватикан вновь обратился к СССР с предложением облегчить страдания военнопленных. На этот раз письмо Ватикана передали посредством США. Молотов ответил:

МОСКВА

28 МАРТА 1943 Г.

Уважаемый г-н Посол,

ПОДТВЕРЖДАЯ ПОЛУЧЕНИЕ ВАШЕГО ПИСЬМА ОТ 25 МАРТА СЕГО ГОДА С СООБЩЕНИЕМ О ПРЕДЛОЖЕНИИ ВАТИКАНА УСТАНОВИТЬ ОБМЕН СВЕДЕНИЯМИ, КАСАЮЩИМИСЯ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ВОЕННОПЛЕННЫХ ДЕРЖАВ ОСИ, ИМЕЮ ЧЕСТЬ СООБЩИТЬ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ИНТЕРЕСУЕТ СОВЕТСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО.

ВЫРАЖАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ США ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЗА ВНИМАНИЕ К СОВЕТСКИМ ВОЕННОПЛЕННЫМ, ПРОШУ ВАС, Г-Н ПОСОЛ, ПРИНЯТЬ УВЕРЕНИЯ В МОЕМ ВЕСЬМА ВЫСОКОМ К ВАМ УВАЖЕНИИ.

В. МОЛОТОВ

В том же 1943 году Молотов объяснил американцам, что с пропагандистской точки зрения было бы неправильно представлять Германию хоть как-то способной на гуманные действия.

— Почему они так вели себя?

— Кто?

— Молотов и все эти люди...

— Я думаю, что они действовали согласно своей позиции...

— Что это за позиция такая — не спасать собственных солдат, попавших в плен?

— Я и сама хотела бы узнать, но думаю, что они мыслили следующим образом: во всем виновата Германия! Немцы подписали Женевскую конвенцию, а в ней было сказано, что забота о пленных лежит на тех, кто их захватил (даже если вторая сторона не является участником конвенции). Германия, по мнению Советского Союза, и должна была отвечать за наших военнопленных. Тут нужно понимать, что и СССР, и Германия были странами, которые никому не верили и давно не видели смысла в международных соглашениях. Поймите, Саша, международные обязательства работают только в том случае, когда за их несоблюдение вас могут наказать. А кто мог наказать СССР или Германию?

Впрочем, я, как всегда, отвлеклась. Вы, кажется, спросили, как они арестовали меня?

— Да.

— Это случилось довольно неожиданно... Стремительно и вместе с тем торжественно. Чекисты пришли за мной вместе с Победой. Мы радовались тому, что папа вот-вот вернется домой, но вдруг оказалось, что победа эта не наша. Впереди нас ждала новая, личная, но от того не менее разрушительная война.

Меня арестовали в июле 45-го. Советские граждане переживали невероятный подъем, и чекисты пришли в мой дом под аккомпанемент победных маршей.

Приехали в полночь. Татьяна Алексеевна только уложила Аську. На пороге стояли трое. Те самые, выросшие, большеватые птенцы. Один остался перетаптываться против нее, парочка принялась потрошить квартиру.

«Собирайтесь!» — ковыряясь спичкой в зубах, спокойно сказал мужчина.

«Когда мы вернемся? Я попрошу соседку посидеть с дочкой».

«Девочка поедет вместе с вами, поднимайте ее!»

«Может, это и хорошо», — подумала Татьяна Алексеевна. Возвратившись к Асе, она принялась будить дочь. Поглаживая девочку по щеке, она заметила, что один из чекистов собирает ее рисунки.

«Что можно взять с собой?»

«Что-нибудь теплое. И для ребенка тоже».

«Может быть, это и хорошо?» Во всяком случае, они позволили мне остаться с Асей. Советские люди. Двое злых, но один хороший. Все никак не мог выковырять что-то, что застряло в его зубах.

«А это можно взять?»

«Да, возьмите и это...»

— Вам позволяют собрать вещи, и, трясая от страха, вы думаете, что эти люди гуманны. Даже арестовывая вас, они разрешают взять теплый свитер. Хорошие люди! Заблуждение... Голая правда заключалась в том, что великое государство было не способно обеспечить одеждой всех арестованных.

«Надо же, — думала я, — вот это машина!» Спустя столько лет они все же добрались до меня. Какие молодцы! Так тщательно работать с документами. Упорству этих людей можно было только позавидовать. Вы только подумайте, 1945 год!

Татьяна Алексеевна собралась довольно быстро. Еще с полчаса, с Асей на руках, она наблюдала, как двое взрослых мужчин распарывают одеяла и вытряхивают перья из подушек. Все это могло бы выглядеть очень смешно, если бы не было так страшно. Около двух часов ночи машина наконец покинула двор.

Рассматривая темные дома, Татьяна думала, что их везут в тюрьму. Ася спала у нее на руках, и Татьяна Алексеевна полагала, что после короткого допроса их отпустят спать. К счастью, они позволили ей остаться с ребенком — ко всему прочему, казалось, она была готова.

Не успев проехать и трех кварталов, машина вдруг остановилась. Работали слаженно: человек, что всю дорогу молча сидел на переднем сиденье, резко выскочил и открыл заднюю дверь. Тот, что сидел рядом с арестованной, вырвал ребенка и побежал в сторону набитого напуганными детьми автобуса. Татьяна закричала, попыталась выбраться из машины, но получила удар в затылок.

«Как вам не стыдно? Что вы себе позволяете? Оставайтесь советским гражданином — не травмируйте детей!»

— Я попыталась вырваться, но теперь уже тот, что открывал дверь, забрался в салон и принялся душить меня. Я чувствовала, как расширяются зрачки. Ася закричала: «Мамочка!», и я попыталась выкрикнуть ее имя, но чекист закрыл мне рот.

«Хватит визжать! Успокойтесь! С ней ничего не будет! Государство о ней позаботится! Мы с вами сейчас поговорим, вы нам все расскажете и отправитесь домой. И вытрите кровь — не пачкайте автомобиль!»

Нам даже не позволили проститься.

Татьяна Алексеевна попробовала успокоиться. Ей показалось, что, если она будет вести себя сдержанно, эти люди пожалеют ее. Позже она узнала, что такое поведение арестованных чекисты называли «синдромом зайца». Никогда не следует обманываться относительно волков.

Спустя полчаса ее привезли на Лубянку и бросили в камеру.

— Я помню, что меня сильно трясло. От страха. За Асю. Куда ее везут? В какой детский дом? Сколько они продержат меня? Справится ли дочь без меня два-три дня? Взяли ли они ее вещи? Нет, ведь, кажется, вещи были у меня... Может быть, они отвезут ей их позже?

Как бы не так! Два-три дня! Смешно! Они вызвали меня на допрос лишь спустя неделю. Все не могли с кем-то кончить. Следователю было не до меня. Дела... да уж, большие дела!

Совершенно обессиленную, со связанными руками, ее усадили на стул. Подняв голову, она вдруг засмеялась. После недели в камере одним видом своим следователь натурально рассмешил ее.

— Человек по фамилии Кавокин. Я запомнила его на всю жизнь. Даже Альцгеймер не выбьет из моей памяти это существо.

Маленький, плюгавый, лысеющий мужичок лет сорока. Исключительно безликий, не человек даже, но моль. Он говорил коротко, отрывисто и немного гнусавил.

— Думаю, не раз, возвращаясь с работы, человек этот подвергался насмешкам дворовых мальчишек. Кавокин натурально нуждался в должности следователя. Лишь возможность пытаться других людей могла примирить это ничтожество с самим собой. Позже, в лагере, я пойму, что вся эта система, вся эта огромная машина строилась на закомплексованных людишках вроде него. Сами по себе эти существа ничего не представляли из себя, но становились значимыми в государстве себе подобных.

Началось с анкеты. Кавокин спрашивал о родителях, загранице и всяком таком прошлом. Затем он объяснил, что

арестовали ее не просто так, что просто так они никого не берут. После часа нелепых вопросов следователь вдруг вытащил стопку ее рисунков и открыл настоящий, многочасовой допрос.

«Это вы нарисовали?»

«Да».

«Зачем?»

«В каком смысле?»

«Для каких целей вы с такой точностью зарисовывали улицы Москвы?»

«Это обыкновенные рисунки. Я люблю рисовать».

«И это?»

Что тут ответить? Я сижу со связанными руками. Передо мной стол, стул и лампа. Следователь размахивает рисунком НКВД, и я думаю: «Господи, какой же нужно было быть душой, чтоб зарисовывать здание государственного учреждения!»

Кавокин задает, по сути, одни и те же вопросы.

«Для чего вы рисовали это? А это? А вот это? А Кремль?»

Я старалась не раздражать его, пыталась отвечать спокойно, но получалось плохо. Во-первых, он все еще смешил меня, во-вторых, какое ему было дело до моих ответов?

Спустя, наверное, часа два он перешел к следующему вопросу:

«Вы отправляли рисунки мужу?»

«Куда?»

«Вы получали письма от мужа?»

«В самом начале войны, да».

«В самом начале это какой год?»

«Это 41-й, если вас подводит память!»

«Не вздумайте грубить мне! А после? После вы получали письма?»

«После нет. Только в самом начале войны, всего два».

«Вы знали, что ваш муж перешел на сторону врага?»

«Нет».

«Так вот знайте!»

«Алексей не мог перейти на сторону врага. Более того, я уверена, что Алексей никогда бы так не поступил. Мой муж всегда был настоящим коммунистом».

«Не тебе, сука, решать, кто есть настоящий коммунист, а кто нет! Поняла меня?!»

«Ого! — подумала я. — Вот это поворот! Это ничтожество умеет еще и кричать!» К этому моменту я успокоилась и теперь совершенно не испытывала страха перед человеком за столом.

«Кто-нибудь говорил ему, что он смешон?»

Кавокин продолжил что-то кричать, но Татьяна Алексеевна перестала слушать его. Ей стало неинтересно. Глядя на брызжущего слюной человека, она вдруг вспомнила последние слова отца:

«Будь храбра, Тата, но без глупостей. Не клади голову на плаху. Будь хитра и не стыдись отступить. Будь мудра! Умей соглашаться и бежать. Не доказывай человеку с ножом, что ты смелая. Всегда молчи. Не объясняй дураку, что он дурак, ибо не рассказываешь же ты дереву, что оно дерево. Не ворчи, не бухти и не ной. И всегда оставайся здравоцентристом!»

«Павкова! Павкова! Павкова, смотрите на меня!»

«Да...»

«Да, гражданин начальник!»

«Да, гражданин начальник...»

«Павкова, связывался ли с тобой твой муж Павков Алексей в последние недели?»

«Что?»

Только в этот момент она поняла, почему они арестовали ее!

«Лешка жив!»

Спустя несколько лет она опять повторяла эти слова. Они арестовали ее не потому, что нашли старые списки, но потому только, что освободили ее мужа из плена.

«Связывался ли с тобой твой муж в последние недели?»

— Из донесений наших агентов я знала, что, заходя в немецкие лагеря, американцы рекомендуют русским солдатам не возвращаться домой, потому что дальше, зачастую, их ждут не родные и близкие, а фильтрационные лагеря.

«Наших солдат пугают пытками и допросами, — сообщал советский сотрудник, — а потому настоятельно рекомендуем провести разъяснительную беседу с представителями американского дипломатического корпуса».

«Так вот почему они арестовали меня! Жив! Жив! Жив! Лешка жив! Они вышли на меня не потому, что нашли румынский список, но потому только, — вдруг осенило меня, — что где-то там, далеко-далеко, моего мужа освободили из плена!»

Вы не поверите, Саша, я так обрадовалась, что чуть было не обняла эту собаку Кавокина.

«Павкова!»

«Да?»

«Да, гражданин начальник!»

«Да, гражданин начальник...»

«Так твой муж, я тебя, суку, спрашиваю, выходил на тебя или нет?»

«Нет...»

Кавокин продолжал орать, и Татьяна Алексеевна испытывала нечто необъяснимое. Плотность эмоций, которую ни с чем не сравнить. Колоссальный пресс чувств.

— Наверное, так действуют только наркотики. Кто бы дал воды? Одновременно я переживала страх и физическую боль, волнение от разлуки с дочкой и счастье от обретения мужа. Я не понимала, какой у меня пульс, но просила собственное сердце только об одном — милое, не остановись!

Следователь продолжал гавкать, и я не могла поверить собственному счастью:

«Значит, это правда?»

«Что правда?!»

«Значит, вы арестовали меня, потому что Алексей жив?»

«Твой муж, контра ты поганая, арестован, потому что перешел на сторону врага, а вопросы здесь задаю я!»

«Жив! Выходит, точно жив!» — ликовала она.

— Я не знала, что со мной будет через час, не знала, что будет с дочерью и мужем уже завтра, но, сидя на первом до-

просе, несмотря на весь ужас происходящего, радовалась тому, что наша семья пережила войну.

Вот уж глупость, правда? Человека пересаживают с одного «Титаника» на другой, а он, не понимая этого, рад, что пока еще не ушел на дно. Вряд ли я смогу с точностью вспомнить те минуты, но теперь мне почему-то кажется, что после очередного вопроса следователя я вновь рассмеялась в голос.

«Я сказал что-то смешное, сука?!»

«Вы нет, гражданин начальник, но судьба...»

Не уверена, что это внесли в протокол. Не думаю, что он вообще его вел. Мои ответы, как, впрочем, и смех, и слезы, следователя вряд ли волновали.

«А ну пошла отсюда!»

Так закончился первый допрос. Разговор внезапно прервался, и арестованную препроводили в камеру.

— Мне показалось, что раз уж все так быстро закончилось, раз уж этот самый Кавокин так скоро отпустил меня — значит, понял, что я невиновна. Всю ту темную, длинную ночь я не могла уснуть — мне, идиотке, казалось, что все обошлось.

Следующим вечером Кавокин вновь вызвал Павкову на допрос. Она долго ждала, пока он закончит дописывать какой-то документ, и когда это наконец случилось, с улыбкой произнесла:

«Добрый вечер, гражданин начальник!»

«Кто тебе, сука, слово дал?»

«Что с моей дочерью?» — спросила я.

«Я тебя еще раз, контру поганую, спрашиваю, кто тебе дал слово?»

«Слушайте, а почему вы так разговариваете со мной?»

Ошибка. Кавокин ударил ее. Татьяна почувствовала, что следователь выбил ей зуб, и прикрыла рот рукой. Будучи человеком маленьким и с виду хлипким, Кавокин оказался обладателем хорошего удара. Долгие годы тренировок не прошли без следа.

«Ты знала, уродина, что твой муж попал в плен?»

Кавокин задал этот вопрос спокойно, и она на секунду задумалась: почему он постоянно перескакивает с «ты» на «вы»? Почему то кричит, то будто бы слушает ее?

«Достоверно нет, но я могла предположить...»

«Исходя из чего ты могла это предположить?»

«Когда письма от мужа перестали приходить, мне хотелось верить, что он не погиб, но попал в плен».

«Значит, тебе, контре поганой, хотелось верить, что твой муж предатель?!»

«Я уверена, что мой муж всегда сражался храбро».

«Храбрые солдаты не попадают в плен!»

«Я думаю, что бывают разные ситуации. Можно попасть в кольцо врага...»

«Всегда можно последней пулей убить себя!»

«Даже если на секунду представить, что он этого не сделал — при чем здесь я?»

«Как это, при чем здесь ты? Ты же его жена, сука!»

«С каких пор жена подозреваемого становится обвиняемой?»

«С тех пор, как это написано в советской Конституции, которую я тебя, паскуду, требую уважать!»

«Я уважаю советскую Конституцию, — спокойно ответила я, — но все же не могу понять, почему я должна отвечать за поступки своего мужа?»

«Потому что ваш брак есть подтверждение сговора!»

«Вы сейчас серьезно?»

«А ты что, сука, хочешь сказать, что вышла замуж без предварительного сговора? Здесь тебе не царская Россия — в Советском Союзе люди выходят замуж по любви, а значит, ты, сволота, знала, что полюбила врага!»

— Все это было так нелепо! Я вновь рассмеялась, и это, кажется, окончательно вывело следователя из себя. Впрочем, перед тем как совсем уж довести его, я успела подлить масла в огонь. В очередной раз рассмеявшись, я сказала ему:

«Слушайте, ну вы же сами понимаете, что все то, что вы тут говорите, — полная чепуха! К тому же вы еще и выглядите при этом так смешно. Ну что вы сделаете? Опять ударите меня?»

Да.

«Ах, тебе смешно? Смешно, да? Коля, а ну-ка, иди-ка сюда!»

Кавокин выпрыгнул из-за стола и, подскочив к Татьяне Алексеевне, ударил ее еще раз. Она попыталась встать, но какой-то человек за ее спиной положил руки на плечи.

«Тебе смешно, сука, да?! Сейчас посмотрим, как тебе будет смешно».

Кавокин принялся расстегивать ремень и ширинку. Арестованная закрыла глаза. Что-то касалось ее лица, но теперь она не хотела думать, что это.

Тот, что был за ее спиной, резко поднял Татьяну Алексеевну и бросил на пол. Тяжелый человек сел на нее и задрал платье. Кавокин попытался овладеть ею, но не смог. Он кряхтел, пытался возбудить сам себя, но ничего не получалось... несколько дней.

Каждый вечер следователь Кавокин вызывал Татьяну Павкову в камеру для допросов и пытался изнасиловать. Четыре дня у него ничего не получалось, а потому он просто избивал ее. В конце концов, на исходе четвертого дня, он повалился на стул и приказал помощнику «сделать это». Тот подчинился.

+

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

ПАВКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
35-ТИ ЛЕТ
РУССКАЯ
ГРАМОТНАЯ
ЗАМУЖНЯЯ
ГОР. Лондон

ДИАГНОЗ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ:

11/7

Была доставлена в больницу с жалобами на резкую слабость, болями во всем теле, рвоту.

Больная среднего роста, правильного телосложения, удовлетворительного питания, видимые слизистые и кожа резко бледны. Положение в постели пассивное, не может поворачиваться. При осмотре тела обнаружены кровоподтеки на бедрах, ягодицах, пояснице и выше них до нижнего угла обеих лопаток. Кровопо-

теки сплошные, темно-фиолетовой окраски. Правая кисть вся отечна. На тыльной стороне поверхности — кровоподтек. Язык чистый, живот мягкий. Общее состояние больной тяжелое. Все время стонет, бредит, зовет мужа и дочь. По словам больной не мочилась и не испражнялась два дня. Пульс — 70.

13/7

Состояние очень тяжелое. Без посторонней помощи не поворачивается. Рвота прекратилась. Стула не было. Мочится с трудом.

15/7

То же самое.

16/7

Жалобы на головную боль. Правую руку с трудом поднимает. Отечность несколько меньше.

17/7

Слегка поворачивается. Самочувствие несколько лучше. Затруднения при мочеиспускании прошли.

20/7

Отечность кисти прошла. Движения полностью свободные.

21/7

Самочувствие удовлетворительное. Сама поворачивается. Жалобы на головную боль.

23/7

То же самое.

25/7

После вчерашнего допроса ночью в 1 ч. 45 м. была снята с петли. На шее имеется слегка выраженная странгуляционная борозда. Пульс удовлетворительного направления.

29/7

Самочувствие удовлетворительное. Видимость слизистой и кожи бледной окраски.

1/8

Общее самочувствие больной улучшается. Отмечается плохой аппетит и боль в пояснице.

3/8

Без особых перемен.

5/8

Самочувствие удовлетворительное.

+

Самочувствие удовлетворительное — можно отправлять. Конец следствия. После изнасилования, обессиленная совершенно, Татьяна Алексеевна попала в тюремную больницу. Когда санитары посчитали, что она готова, ее вновь отправили на допрос. На этот раз Кавокин ничего не говорил, а его подчиненный сразу перешел к делу. Теперь она не понимала только одного — как это человек соглашается насиловать, по сути, живой труп? Возвратившись в больницу, она попыталась покончить жизнь самоубийством, но санитары вовремя сняли ее с простыни. Так закончился судебный процесс. Ее приговорили к пятнадцати годам и, когда здоровье позволило, посадили в стлыпинский вагон. Готовьтесь, милочка, — месяц в пути. Мы, кстати, хотели у вас спросить: как там у вас с настроением? Все хорошо? Больше не смешно?

На прощание следователь Кавокин предельно ясно описал ее будущее: «Твой муж, гнида, будет расстрелян (если еще нет), твоя дочь отправится в детский дом, и если спустя пятнадцать лет вам по какой-то нелепой случайности дове-

дется встретиться, — она, скорее всего, не узнает тебя. Уж наши воспитатели позаботятся об этом».

«Посмотрим», — глядя исподлобья, прохрипела Павкова.

Через всю страну набитый женами врагов народа поезд двинулся в лагерь. Женщины рассказывали друг другу истории своих допросов, и Татьяна Алексеевна не открывала глаз. Самым страшным в пути оказались остановки. Когда поезд в очередной раз сбавлял ход, ей казалось, что она вот-вот закричит. Неделю, вторую она мечтала только о том, чтобы поезд наконец дополз до точки. На двадцатый день пути всякая смерть казалась избавлением. Она сидела, прижавшись к деревянной стене, и шептала строчки Барто:

«Дом стоял на этом месте... Он пропал с жильцами вместе... Где высокий серый дом? У меня там мама в нем! Постовой ответил Семе: — Вы мешали на пути, вас решили в вашем доме в переулок отвезти... Мы все время, Сема, едем, едем десять дней подряд... Тихо едут стены эти, и не бьются зеркала...»

По приезде их поставили у обрыва. Несколько женщин начали кричать и падать в яму еще до выстрелов. Татьяна Алексеевна молчала.

— Поразительно, — подумала я, — в ком-то еще остался страх смерти. Если бы в тот момент мне предложили пулю, я бы с удовольствием приняла ее... точь-в-точь пилюлю итальянского врача много лет назад... Неужели это я когда-то плакала из-за соплей?

После месяца в вагоне ей было абсолютно все равно, на нары или в могилу.

— К тому же я ненавидела себя. Я не могла простить себе срыва, который произошел со мной в тюрьме. Мой муж сидел в лагере, дочь мою забрали в детский дом, а я думала только о себе. Стоя перед обрывом, я не боялась смерти. Я готова была умереть, но не от усталости даже, а от стыда.

К сожалению, выстрела не случилось. Мы простояли полчаса, и нас погнали дальше. Оказалось, что такие здесь шутки. Всех вновь прибывших встречали подобным спектаклем. Вы же знаете — в Советском Союзе очень любили театр... особенно анатомический.

На территории лагеря их поставили по обе стороны песчаной дороги. Когда все наконец выстроились, повисла гробовая тишина — между женщинами пошли конвоиры. Словно покупатели в большом продовольственном магазине, они ринулись рыскать между рядами.

— Кажется, впервые за тридцать с лишним лет я радовалась тому, что некрасива. Я понимала, что по собственной воле мало кто захочет меня. Все это напоминало пробы на киностудии или бал-маскарад. Женщины стояли в одежде, в которой их арестовали: одни в пиджаках поверх ночнушек, другие в разодранных вечерних платьях. Я помню, что когда рассказывала эту историю Ядвиге, подруга вдруг остановила меня.

«Погоди! — возразила она. — Но ведь этого не может быть! В одних ночнушках? Вы же месяцами сидели в тюрь-

мах, неделями тряслись в поездах. Как можно было вытерпеть все это в одной ночнушке?»

Можно подумать, это кого-нибудь волновало...

Государство выдавало вещи только в лагере. В тот вечер нас завели в какую-то каморку и предложили выбрать обувь. Перед нами лежала куча новых башмаков, только все они были одного, тридцать седьмого размера.

«Не нравится — ходите босиком».

После «конкурса красоты» и «золотой туфельки» их наконец распределили по «восьмеркам». Бывшие блоки завода. Ни окон, ни полов. На земле солома, на крыше земля. «Восьмерками» эти здания назывались потому, что температура здесь никогда не поднималась выше цифры, похожей на знак бесконечности. Летом здесь не было даже холодной воды. Зимой, чтобы заварить чай, растапливали снег или черпали воду из проруби, в которой время от времени топились отчаявшиеся.

Женщины обступили смотрящую. Ее заваливали вопросами о быте, содержании и режиме.

— Мне было совершенно неинтересно, и все же я понимала женщин, которые пытались успокоиться. Смотрящую донимали вопросами, чтобы получить хоть малейший глоток надежды:

«Это вот будет не страшно, а вот это, девчата, совсем не беда...»

Повернувшись к стенке, я пыталась уснуть, но получилось скверно. После тюрьмы, больницы и трех с лишним недель в поезде раскалывалось тело. Условия перевозки советских заключенных мало способствовали заживлению полученных во время допросов ран.

+

Татьяна Алексеевна продолжает рассказ, а я рассматриваю картины. На этот раз я останавливаю взгляд на портрете мужчины. Привычно серые, холодные, как холст, цвета. Вновь яркий свет, на этот раз от лампы. За столом сидит маленький, но очень страшный человек. Рот его слегка открыт — я вижу острые, кривые зубы. Мне кажется, что это существо вот-вот набросится на меня.

— Вот уже два месяца как я ничего не слышала об Асе. Теперь, после нескольких недель в поезде, я знала, что первым делом договаривались с детскими домами и лишь затем арестовывали матерей. Сложная система советской коммуникации. Ожидая новых ребят, директора детских домов догадывались о предстоящих задержаниях. Впрочем, здесь я не совсем точна — директора детских домов ожидали «новые поступления» каждый день, а потому о постоянных задержаниях забывали и думать. Заполненная беспризорниками страна даже с окончанием войны не смогла отказаться от ужасной привычки производства сирот.

Я понимала, что главное — перетерпеть первое время. Организм ко всему привыкает. Нужно дать себе год, быть может, два. Есть вещи первостепенные, а все остальное — ерунда. Главное, что однажды мы с Лешей и Асей будем вместе...

Несколько первых недель наравне со всеми я собирала камыш. На четырнадцатый день случилось чудо — меня вызвали к начальнику лагеря.

«Павкова, — спросил он, — так-то правда, что ты работала в НКВДе?»

«Правда», — ответила я.

«Ну-ка, садись-ка к машинке!» — предложение начальника показалось мне чрезвычайно странным, а потому я не двинулась с места.

«Ну чего стоишь? Садись туто-ка, говорю!»

Я была растеряна, но понимала, что такой шанс упускать нельзя. В кабинете его было тепло, и о подобной работе можно было только мечтать!

Я села. Начальник подал мне тетрадь и приказал перепечатать расчерченный на колонки лист.

«По всей форме?» — пытаясь придать значимости собственным действиям, спросила я.

«Печатай как хош, как у вас там в Москве это делают...»

СПРАВКА
О ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В ЛАГЕРЕ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1945 ГОДА

ВСЕГО ПОГИБЛО —

В АБСОЛЮТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ —

В ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ —

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СМЕРТНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ —

СМЕРТНОСТЬ ПО МЕСЯЦАМ И ДИАГНОЗУ ЗАБОЛЕВАНИЯ —

«Хорошо, Павкова, хватит! Я все устраю — завтра начнешь».

Ей повезло. Начальник лагеря, человек по фамилии Подушкин, оказался типом ленивым и хитрым. Он знал, что доверять документацию врагу народа — преступление, однако новая красотка, которую он пропихнул на это место, совершенно не справлялась. Документацией она не занималась, а в письмах, которые набирала, делала десятки ошибок. Строчки прыгали, буквы исчезали, как люди по всей стране. Татьяне Алексеевне понадобилось несколько недель, чтобы привести в порядок полученное от нее наследство.

Имеются данные, что некоторые санотделы лагерей и ОИТК в выданных справках о причинах смерти заключенных довольно часто ставят диагноз «истощение».

Такие справки, попадая не только в суды, вынесшие приговор, но и к родственникам умершего, вызывают нежелательные суждения о причинах смерти.

НЕОБХОДИМО:

- При фиксации смерти, наступившей от истощения, давать не только основной диагноз, но и сопутствующий (паралич сердца, ослабление сердечной деятельности, туберкулез легких и т. д.).
- При выдаче всякого рода справок, направляемых из лагеря разным организациям, и в извещениях, направляемых в ОАГСы НКВД-УНКВД, ставить только сопутствующий диагноз.
- В медсанотчетности, направляемой лагерем в санотдел ГУЛАГА, — остается диагноз основной.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

По вопросу о порядке снятия золотых зубных протезов у умерших заключенных поясняем:

- Золотые зубные протезы с умерших заключенных подлежат снятию.
- Снятие зубных протезов производится в присутствии комиссии в составе представителей: санитарной службы, лагерной администрации и финотдела.
- По снятии золотого зубного протеза комиссия составляет акт в 2-х экземплярах, в котором точно указывается число снятых единиц (коронки, зубы, крючки, кламера и т. п.) и их вес.
- Акт подписывается всеми вышеперечисленными представителями. Один экземпляр остается в делах санитарного отдела лагеря, второй, вместе со снятыми золотыми протезами, передается в финотдел лагеря.
- Принятое золото сдается в соответствующее ближайшее отделение Госбанка, и квитанция о сдаче золота Госбанку приобщается к первоначальному акту.

В первый месяц я многое почерпнула. Так, теперь я знала, что в случае, когда заключенные съедают собаку или кошку, это стоит оформлять как злостное хулиганство. Важно объяснить Москве, что осужденные делают это забавы ради, голода же в лагере нет. Впрочем, успокоил меня начальник, ты за зверюшек не беспокойся — всю живность (кроме людей) в этих местах съели давным-давно. Лишь спустя несколько лет я смогла в полной мере оценить его странное чувство юмора. Намекая на каннибализм, начальник ни в коем случае не шутил. Едва выпадал снег и промерзала земля (несмотря на регламент захоронений и постоянные требования столицы), трупы заключенных переставали закапывать и начинали складывать за одним из барачков.

«Если хотят — пускай сами приезжают и копают! — попивая чай из блюдца, возмущался Подушкин. — С ума счухать! Так-то они в Москве шибко умные! Так-то что предлагают? Шушеру собрать и приказать копать. Так-то я не против, но тока смысл? Они пока эту землю замерзшую адову мне раскопают для такого количества мертвечины — половина на этих же работах и сдохнет! Это ж замкнутый круг получается, а у меня по лесу план!»

Время от времени у свежих трупов за барачком пропадали части тела. На это, как правило, закрывали глаза. Если же в редких случаях по какой-то причине приходилось составить акт, Татьяна Алексеевна списывала все на волков, которых здесь отродясь не было.

— Иногда, предварительно напившись, начальник лагеря устраивал один и тот же аттракцион. Он брал лопату и, бросив на нее кусок протухшего мяса, выходил во двор. Каждая заключенная могла покинуть «восьмерку» и, встав

на колени, подползти к лопате, чтобы отгрызть ровно столько, сколько получится. Я помню, как моя коллега, та самая безмозглая любовница начальника, с сожалением констатировала: «Господи, как низко пал человек!»

Вы могли бы подумать, что она имела в виду своего любовника, но нет, девушка говорила об обессиленных женщинах. Я молчала. Ничего сверхъестественного. Люди (люди именно, а не этот наделенный властью выродок) вели себя понятно и рационально. Женщины — мамы, дочери и сестры — старались сохранить собственную жизнь. В этом не было ни падения, ни чего бы то ни было из ряда вон выходящего. В происходящем меня поражало другое — я понимала, что эксперимент, который начал великий архитектор человеческих душ, — работа над новым человеком шла полным ходом. Самое страшное, думала я, не в том, что обессиленные заключенные пытаются вцепиться в кусок мяса, но в том, что, если мы ничего не изменим, если об этих ужасах не узнает весь мир — спустя полвека выкристаллизуется человек, который будет есть с лопаты по собственной воле. И если не случится тяжелого осознания и не будет покаяния этой власти, человек этот будет стоять в очереди к лопате с блинами, и будет счастлив, и будет радостно есть с нее, ибо заключением для такого человека станет не лагерь, но он сам.

Несмотря на «хорошее место», Татьяна Алексеевна по-прежнему ничего не знала о дочери. Даже близость к начальству не помогала ей. На все запросы она получала один и тот же ответ — «нет». Ей хотелось верить, что в детском доме терпимо. Она надеялась, что дочь, если это только воз-

можно, не сильно тоскует. С другой стороны, Татьяна Алексеевна радовалась уже тому, что Ася не видит ее.

Продолжая размышлять над тем, что советские лагеря были великим экспериментом, своеобразной лабораторией и могущественным математическим уравнением, результатом которого должен был стать новый советский человек, она понимала, что все это чушь.

— Если бы все мы были единицами этой задачи, если бы все мы, заключенные, были частью какой-то формулы — то и жить мы должны были по одним правилам. Только этого не случилось. Нет! Миллионы ошибок. Путаница как единственное известное в «дано». В нашем лагере творился чистый, абсолютный хаос. Одни женщины переписывались со своими мужьями, другие нет. Осужденные по одной и той же статье, одни попадали в лагерь с детьми, другие, как я, годами пытались установить связь с близкими. Мне не разрешали узнать о судьбе собственной дочери, а между тем даже в нашем бараке были заключенные, которым полагались свидания. Впрочем, порой я думала, что это даже хорошо: не уверена, что смогла бы выдержать встречу с Асей. В нашем блоке была женщина, которая после часового свидания с сыном сошла с ума. Натурально, без всяких преувеличений. Увидев измученную, поседевшую мать, пятилетний малыш обнял бабушку и спросил: «А мама теперь всегда будет такой некрасивой?»

Каждый день в течение двух лет эта женщина садилась к маленькому, пустившему трещины зеркальцу и готовилась к следующей встрече. Два года приготовлений и прихорашиваний, которые из-за проволочек и неисправностей великой системы закончились этапом в дурдом. Наблюдая

за этой несчастной матерью, я вспоминала Аську, вспоминала ее нежные ручки и надеялась, что однажды моя дочь простит меня. Понимая, что в эту минуту девочка моя засыпает в детском доме, я погибала от собственного бессилия. Мне было так совестно перед ней. Закрывая глаза, я вспоминала наши самые обыкновенные московские вечера. Теперь я проклинала себя уже за то, что когда-то отводила Аську в детский сад. Ася плакала, воспитатели шипели, и, думая, что так будет лучше для всех, я повиновалась и уходила. Отлучение от любви. Никакой привязанности быть не должно. Ты скоро вырастешь, милая, ты будешь жить одна! Нормированная нежность, загнанная в графики любовь. Вечерами, сплетаясь будто корни одного дерева, мы не жились, и Аська улыбалась мне, но уже следующим утром я вновь отводила ее в детский сад и оставляла. Ася плакала, и воспитатели шептали мне вслед: «Уходите, ваша девочка должна оставаться одна...»

Теперь, ворочаясь на нарах, Татьяна Алексеевна думала, что Аська предчувствовала их расставание. Дети всегда знают о предстоящей разлуке.

— Ася постоянно говорила мне: «Мама, я хочу тебя обнять, мама, не уходи, я хочу тебя поцеловать!» — но все это казалось мне такой прекрасной глупостью.

«Мы еще нацелуемся!» — отвечала я.

«Когда?..»

Я гладила дочь по щеке и уходила на работу...

— Порой, возвратившись домой уставшая, я могла нашипеть на Аську. Обыкновенная история. Я ругалась не по

тому, что девочка моя была в чем-то виновата, но потому только, что выдался тяжелый день. Кто из матерей с этим не сталкивался? Тогда все это казалось обыденным и понятным. Теперь же я не могла простить себя. Вспоминая добрый Аськин взгляд, я рыдала, как рыдали женщины вокруг меня. Мы просили у своих детей прощения, но больше не знали, услышат ли они нас. Пытаясь уснуть, я видела маленькую, ни в чем не повинную девочку, девочку, которая была готова извиниться за все, чего не делала, лишь бы только мама не злилась на нее...

Знаете, Саша, с годами я поняла, что отношения между гражданами СССР и Сталиным строились по такому же принципу. Строгого отца любят вопреки. Даже здесь, в лагере, потеряв родных и близких, женщины мечтали о добрых объятиях вождя. словно малые дети, готовые на все ради милости папы, они желали загладить собственную вину перед уставшим родителем. Суровый, но справедливый? Нет, не в этом дело! Отец, а потому неважно — какой. Близких не выбирают. Вождь становился данностью, первым из первых, сверхчеловеком, которому, как и Адаму, надлежало жить девятьсот лет. Гениальность Сталина заключалась в том, что он сумел убедить миллионы людей в своем родстве. Порой, думая о нем, я вспоминала слова собственного отца. Папа любил повторять, что бога нет. Бога нет, а значит, и спросить не с кого. Что возьмешь с этих людей? Не творения всевышнего, но всего-навсего биологический вид. Чуть умнее осла, чуть хитрее кошки. Горе случалось с нами потому только, что мы были несовершенны. Не дельфины и даже не псы. Нечего тут обсуждать — мы слишком глупы!

Я старалась прислушаться к словам отца и со многим, в общем-то, соглашалась. Да, знаете, Саша, теперь я знаю, что там, в лагере, я понимала своего отца и почти со всем была согласна... почти со всем...

Не помню, говорила ли я вам: отец мой был атеистом. Долгие годы, подобно отцу, атеисткой была и я, но лагерь... лагерь заставил меня поверить в бога.

— Как?

— Как? Очень просто! Бог стал способом собственной терапии. Бог стал спасением. Бог стал ресурсом и личным режимом. Бог стал опытом и веществом, которое вырабатывал мой мозг. Нам не выдавали таблетки, я не могла купить себе валерьянку или водку, но я могла выдумать бога, который поможет мне. В своей голове я нашла уголок, клетки, которые отвечали за то, что мы называли богом, и я включала их, и клетки эти помогали мне спастись и не сойти с ума. Я включала механизм бога в своей голове, и он работал. Здесь было совсем не важно, есть бог на самом деле или нет его, здесь было важно только то, что я добиралась до него и использовала во спасение. Бог был моей неврологией, бог был моим пониманием способностей самой себя. Все, что происходило в лагере, было так глупо, так жестоко и бездарно, что лишь существование всевышнего могло поддержать меня. Ницше утверждал, что бог умер. Вторя ему, Достоевский сокрушался, что если бога нет, значит, все дозволено, а я думала ровным счетом наоборот. Только существование бога могло оправдать все то, что случилось с нами. Не отсутствие всевышнего, но его на то добрая воля порождала зло. Не эволюцией, но лишь высшим замыслом можно было объяснить ту пропасть, в которую после обру-

шения моста проваливался человек. Здесь было что-то важное. И в этом не было природы, но была тайна — и только моя. Я не знала животных (кроме людей), которые бы получали удовольствие от пытки, и я хотела прийти к божеству, которое за все это ответит. В голове своей я обязана была выдумать бога, к которому однажды смогу прийти и потребовать объяснений. Я видела, как надзиратели получали удовольствие от наших страданий, и чувствовала, что где-то там, высоко-высоко, должен быть поощряющий это зло бог. Только выдуманный мною создатель, только необходимый мне демиург мог стать оправданием этих чудовищных конструкций. Там, в лагере, нас не хотели уничтожать, но нас хотели мучать. Нас испытывали, как испытывают на прочность ткань. Женщин здесь убивали не по приказу, но по случайности. И в этом не было великого эксперимента, но была мука, и в этом не было человека, но был бог. Набирая списки «простудившихся», я понимала, что мне нужен кто-то, кого я смогу призвать к ответу. И я не делала дубликаты документов, но сохраняла в памяти все, что смогу предъявить ему в день самого главного, страшнее Страшного, суда. Ни начальник лагеря, ни даже этот жалкий проворовавшийся разбойник Сталин не волновали меня. Мне нужен был бог, потому что я понимала, что только он сможет по-настоящему ответить за все. Я знала, что не доберусь до Сталина, и мысль о мести вождю ни в коем случае не успокаивала меня, но возможность мести самому богу, безусловно, придавала сил. И я мечтала дать ему пощечину! Я желала взять его за горло и, сжимая свои заокостеневшие пальцы, слушать, как он хрипит. Поверьте, Саша, во мне было столько обиды и злости, что я задушила бы лю-

бога божка. В моем сердце было столько ярости, что сила эта могла остановить мир, и, чтобы этого не случилось, я обязана была выдумать могущественное существо — существо, способное принять на себя удар...

Вот почему я выдумала его и вот почему я стала верующей. Вместе с другими женщинами каждый вечер я молилась маленьким иконкам, и если бы только мне представился шанс доказать искренность моей веры, если бы понадобилось умереть за любую деревяшку, на которой был изображен Иисус или какой-нибудь святой, — я бы сделала это не задумываясь. Всякий раз, встав на колени, я молила бога о его собственном здравии. Я просила его не исчезнуть и не пропасть. И все эти годы он повелевал и здравствовал только потому, что я ждала письма...

Теперь же, теперь, когда все в моей жизни кончено, — бог, именно тот созданный мною бог, выдумывает мне Альцгеймера, потому что боится! Ему страшно посмотреть мне в глаза! Он хочет, чтобы я все забыла. Альцгеймер есть нарушение пути к нему, и мой Альцгеймер есть главное подтверждение тому, что он боится меня.

Я не знаю, что тут сказать. Глупая сцена. Далеко за полночь, сидит старушка, сидит мужик. Говорят о боге, а что о нем говорить? О боге стоит говорить, только когда о людях все сказано...

— Сколько вы пробыли в лагере? — поднимаясь с маленькой табуретки и разминая ноги, спрашиваю я.

— Десять лет.

— Они выпустили вас досрочно?

- Да.
- А потом? Вы встретили мужа? Вы нашли дочь?
- Я устала... давайте поговорим об этом завтра...
- Завтра вы ничего не вспомните...
- Прошу вас, Александр... Завтра мне рано вставать!

Я повинуюсь. Оставив пакет с едой, я выбираюсь на лестничную площадку и через мгновение оказываюсь дома. В квартире тихо и пусто — вторая жизнь еще не успела подбросить барахла. Почистив зубы, я выключаю свет и заваливаюсь на новую кровать.

Мне снится страшный сон. Я в театре. Невероятной красоты зал, хорошо одетая публика. Уважающие звук стены, знаменитый дирижер. Дают концерт для симфонического оркестра и... аппарата МРТ. В том месте, где обычно стоит рояль, будто айсберг, возвышается белый сканер. Под аплодисменты, не в платье, но почему-то в мужском смокинге, на сцене появляется Лана. Она проходит тромбонистов, мигнет альтовую группу и, пожав руку первой виолончели, ложится на выдвинутую пластиковую койку. В зале воцаряется тишина...

Один из ударников подходит к сканеру и нажимает на кнопку — Лана медленно скрывается в аппарате. Дирижер поднимает палочку, замирает и секундой позже разрешает машине вступить. Быстрые импульсы электроэнергии внутри сканера вызывают вибрацию металлических спиралей. Концерт начинается с соло аппарата. Раздается неприятный, постоянно повторяющийся стук. В мгновение звук этот достигает 125 децибел, и даже вступившему следом полному

составу симфонического оркестра сложно совладать с солирующим инструментом. Страшная музыка. Печальная и невыносимая. Мелодия боли. Переживание в каждой ноте, и в каждом треске — смерть. Мне не нравится это произведение. Я не хочу, чтобы Лана его исполняла, но народу, кажется, по душе. С финальным аккордом зал разражается аплодисментами. Собравшиеся кричат «браво», а я молчу — мне не хочется, чтобы Лана ложилась в аппарат на бис.

+

Нужно ль вам истолкованье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.

Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций — тараканьих штабов,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог грудей и ... отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог наливков, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бог в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он, русский бог.

К глупым полон благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он, русский бог.

Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он, русский бог.

Петр Вяземский
Москва, 1828 год

+

В девять утра звонят в дверь. Грузчиков я не жду, а потому решаю, что пришла соседка. Так и оказывается, только вместо Татьяны Алексеевны на пороге стоит молодая девушка.

— Доброе утро! — протягивая пирог, с улыбкой говорит она.

— Доброе... — протирая глаза, отвечаю я.

— Меня зовут Лера. Я ваша соседка снизу, хотела познакомиться...

«Вот это город! — думаю я. — Красотка сама заваливается к вам в девять утра!»

Девушка проходит на кухню и, поставив пирог на стол, подходит к окну. Я включаю чайник и, открыв холодильник, думаю, чего бы ей предложить. Вероятно, следуя ритуалу добрососедства, соседка несколько мгновений изучает кухню, затем садится на подоконник. Я расставляю чашки и смотрю во двор. За стеклом, на площадке детского сада, ребята собирают листву и складывают ее под ржавой ракетой.

— Как думаете, зачем они это делают? — спрашивает Лера.

- Хотят перелететь.
- Через всю галактику?
- Через забор.

Повисает пауза. Я не знаю, что еще сказать, а потому решаю протестировать радиоприемник, который доставили вчера вместе с мебелью.

— Вы не против, если я включу музыку? Купил вот только вчера, еще даже не успел проверить.

— Да-да, конечно!

Аппарат работает. Я пролистываю несколько радиостанций, и, когда Лера говорит: «Оставьте эту», останавливаюсь. Ребята продолжают складывать под ржавую ракету листву.

— Я знаю вашу историю... — вдруг выключив радио, говорит соседка.

— Вот оно что...

— Вы не против, если я буду вам помогать? Раньше я никогда этого не делала, но думаю, что смогла бы сидеть с вашей дочкой. У вас ведь девочка, да?

— Да, — закрывая форточку, отвечаю я.

— Хорошо! Тогда я буду приходить к вам. И не курите здесь! Значит, мы встретимся вечером?

— Уже сегодня?

— Да, мы, например, могли бы посмотреть кино.

— Почему бы и нет...

— Например, комедию?

— Да, можно и комедию...

Провожая Леру, я выхожу на лестничную площадку. Бросив взгляд на соседскую дверь, я замечаю новый красный крест. Теперь он и на двери Татьяны Алексеевны.

— Вы знаете, кто здесь живет? — спрашивает Лера.

— Знаю, — отвечаю я.

— Говорят, у нее была очень тяжелая судьба...

— Это правда...

— Говорят, она так и не нашла своих близких.

— С чего вы взяли?

— Мне рассказывала женщина, которая продавала нам квартиру.

— Это неправда! Этого не может быть!

— Не знаю, но я точно помню, что она так сказала...

В этот момент открывается соседская дверь. На лестничную площадку выходит Татьяна Алексеевна.

— Здравствуйте, Александр!

— Здравствуйте!

— Как вам спалось на новом месте?

— Хорошо, спасибо! Вы куда?

— Я в Куропаты. Если хотите, можете со мной — лишние люди нам не помешают!

— Что это?

— Меня ждет такси. Так вы едете или нет?

— Да, только соберусь!

В такси я узнаю, что Куропатами называется урочище близ Минска. Место, где обнаружены массовые захороне-

ния репрессированных в тридцатые годы. Органами НКВД здесь были расстреляны десятки тысяч человек.

— Там захоронены ваша дочь и муж? — разглядывая в запотевшем окне незнакомые улицы Минска, спрашиваю я.

— Нет, у меня там никого нет.

— Тогда зачем мы едем туда?

— Вы ведь недавно здесь, да?

— Да.

— Тогда вы, наверное, не знаете, что наши власти решили снести Куропаты и продолжить через кладбище кольцевую автодорогу.

— А что, рядом построить дорогу нельзя?

— Судя по всему, нет. К тому же важно понимать, что это политический момент. Наш лидер до мозга костей красный. Ему не нравится, что мы чтим память жертв репрессий. Сталина здесь принято восхвалять, а не ругать. Люди уже несколько месяцев охраняют мемориал, но власти не сдаются. Сейчас они подгоняют в Куропаты грузовики и бульдозеры, собираются валить вновь установленные кресты.

— Я не верю, что в 2001 году, после всего, что нам известно, это кому-нибудь придет в голову.

— О, Саша, как я завидую вашей наивности! Что ж, прямо сейчас у вас будет шанс лично познакомиться с этими людьми.

Оказавшись на месте, я вижу людей с национальной символикой. Против них превосходящие силы милиции. Татьяна Алексеевна предупреждает, что половина пришед-

ших — сотрудники Комитета госбезопасности в штатском.
«Будьте осторожны!»

Моросит. Атмосфера нервозная. На моих глазах появляется подкрепление. Ребята в коричневом камуфляже с улыбками приветствуют коллег. Слуги народа. Молодые люди пожимают друг другу руки и, вероятно, отчетности для, без энтузиазма, буднично начинают арестовывать активистов. Несмотря на царящую напряженность, мне кажется, что представители правоохранительных органов, в отличие от протестующих, нисколько не волнуются. Более того, люди в форме пребывают в хорошем настроении. Активисты их не пугают, а собственная работа, кажется, даже нравится. Из милицейской машины доносится песня какой-то местной поп-группы:

Ты мне откроешь двери
И я скажу на ушко:
Я и есть твой бог —
Меня зовут любовь

Я и есть твой бог
Меня зовут любовь
Если поверить смог
Поверишь вновь и вновь...

Вокруг колятся грузовики с песком. Рядом с нами стоит бульдозер. Вероятно, именно этой машине надлежит выдирать кресты.

— Татьяна Алексеевна, мне кажется, ребята, которые защищают мемориал, вполне могли бы справиться и без вас.

— Ну почему же? Почему бы милиции не арестовать и девяностооднолетнюю старушку?

— Вы правда думаете, что они решатся сносить кресты?

— Если только мы отступим.

Татьяна Алексеевна вручает мне свечу. Я зажигаю ее и прикрываю рукой. Мне до последнего не верится, что кому-то придет в голову разгонять нас, однако спустя полчаса, после нескольких локальных стычек, ОМОН идет в наступление. Включаются дубинки, мелькают береты. Мы вдруг оказываемся в окружении милиционеров. Какой-то накачанный верзила толкает меня. Я остаюсь на ногах, но получившая вслед за мной удар Татьяна Алексеевна оказывается на песке.

— Что же ты делаешь, сволочь?!

Нас тащат по песку. Не бьют, но, повалив на землю, волокут в сторону милицейских «пазиков». Я вижу, что за моей спиной еще продолжается зачистка, но меня это уже не касается. Страхнув песок с куртки, я улыбаюсь Татьяне Алексеевне.

— Быстро парни работают. Я даже понять ничего не успел. За что они арестовали нас?

— За то, что вы приехали почтить память репрессированных.

— Вы как, целы?

— По сравнению с советскими конвоирами, эти ребята — милые щенята.

— Что теперь? На нас будут оформлять протокол?

— Ага. Думаю, обвинят в сопротивлении силам правопорядка.

— Это штраф?

— Ага.

— Черт, я даже паспорт с собой не взял.

— Вот же вы дурак, Саша!

— Но вы же не сказали мне, куда мы едем.

Кабинет коричневый. Стол старый. Старее стола пол. На стене портрет строгого президента и календарь с плюшевыми зайчиками. Два стула, синий сейф и белая радиоточка.

В синем небе солнушко лучики на землю шлет,

А за стенами суда следователь дело шьет.

Кому? Да никому — мальчугану одному.

Кому? Да никому — мальчугану одному.

Нас оформляют довольно быстро. Кажется, милиционеру не до нас — он напоминает коллегам, что вечером у его дочери день рождения. Татьяна Алексеевна объясняет, что я друг семьи и приехал в гости. На акцию попал случайно. С разрешения следователя я звоню маме, и дядя Гриша привозит мой паспорт. Когда милиционер объясняет, в чем нас обвиняют, Татьяна Алексеевна смеется:

— Товарищ начальник, я, конечно, понимаю, что вам нужно составить протокол. Более того, я очень признательна за то, что я и мой молодой спутник обвиняемся всего лишь в использовании нецензурной лексики, но если Александр

и мог ругаться, то со мной загвоздка: товарищ начальник, у меня болезнь Альцгеймера — я забыла все плохие слова!

— Татьяна Алексеевна, — посмотрев в документ, спокойно отвечает милиционер, — не морочьте мне голову, я уже составил протокол. Давайте, не задерживайте меня. У меня тут таких как вы, борцов, вагон и маленькая тележка!

Отчим с недовольной миной спрашивает, нужно ли нас подвезти. Я понимаю, что компания Татьяны Алексеевны доставит ему неудобство, а потому сразу соглашаюсь. Первое время мы согреемся и молчим. Отчим включает печку и крутит колесико радио. Джон Леннон поет:

Представьте, что нет рая,
Это легко, если попытаться.
Никакого ада под землей —
Только небо над нашими головами.
Представьте, что все люди
Живут сегодняшним днем.

Представьте, что нет стран,
Это не так уж сложно.
Никто не убивает и не умирает за что-то,
И религий тоже нет.
Представьте, что все люди
Живут в мире и согласии.

Вы можете сказать, что я мечтатель,
Но я не один такой.

Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам,
И мир будет един.

Представьте, что нет собственности.
Интересно, сможете ли вы это сделать.
Нет понятий «жадность» или «голод»,
Все люди — братья.
Представьте, что этот мир
Принадлежит нам всем.

Вы можете сказать, что я мечтатель,
Но я не один такой.
Надеюсь, что однажды вы присоединитесь к нам,
И мир этот будет един.

Когда песня заканчивается, Татьяна Алексеевна начина-
ет говорить:

— Саша, вчера вечером вы хотели узнать о моей дочери.

— Да, очень!

— Что ж... почему бы и нет... Кажется, я остановилась на том, что получила хорошую работу. Отчеты, справки, графики. Каждый день я набирала документы, и время от времени, расхаживая вокруг моего стола, начальник надиктовывал письма вышестоящим органам:

УВАЖАЕМЫЙ СЕМЕН ЗАХАРОВИЧ!

РАССКАЗЫВАЮ, КАК У НАС ТУТ.

САМЫМ ОСТРЫМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЕТСЯ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС. ЗЭЧКИ ЖИВУТ В БАРАКАХ, К ЗАКЛЮЧЕНИЮ НЕ ПРИСПОСОБЛЕННЫХ. ТЕСНО-

ТА ДИКАЯ! ХОРОШО ЕСЛИ МЕТР НА ОСУЖДЕННУЮ. НАРЫ В НЕСКОЛЬКО ЭТАЖЕЙ. В ГРОБУ, ПРЯМО СКАЖЕМ, МЕСТА БОЛЬШЕ. ПОЛОВ, САМ ПОНИМАЕШЬ, НЕТ, КРЫШИ ТОЖЕ. ПРИ СКВЕРНОМ ПИТАНИИ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ БОЛЕЮТ И МРУТ. В ОСТАЛЬНОМ, КАЖЕТСЯ, ДЕЛА ИДУТ ХОРОШО, ПЛАН СТАРАЕМСЯ ВЫПОЛНЯТЬ.

Я еще многое могла бы добавить к этому письму, но печатала молча и старалась запомнить каждое слово, чтобы однажды, выйдя на свободу, пересказать все услышанное людям. Жаль только, что, оказавшись на воле, я поняла вдруг, что правда эта никому не нужна...

Татьяна Алексеевна на мгновение замолкает. Взглянув на отчима, я замечаю, что разговор этот ему не нравится. Впрочем, дядя Гриша делает вид, что увлечен дорогой.

— Так или иначе, возвратившись в барак, я действительно замечала, что некоторых женщин больше нет. Голод, побои, невыносимые болезни. То тут, то там, к радости заключенных, на нарах появлялись свободные места. Был человек — и нет. «Помни, Тата, мы всего лишь вид...»

Татьяна Алексеевна пыталась найти решение, которое поможет разыскать Асю. Остров мертвых и кораблекрушение судеб. Закрыв глаза, она представляла, что гладит белье, что купает Асю и стирает ее вещи.

— Все мы теперь мечтали делать то, от чего уставали мирными вечерами. Там, в лагере, мы вдруг поняли, какое это родное и важное слово — быт. Вальс счастья, повторение уюта. Как мне хотелось вернуться домой! Но мешало страшное и длинное слово «перевоспитание».

«Ничего прежде у вас не было! Не было обедов и смеха, не было друзей! Вы — враги народа! Радуйтесь, что вам позволено начать жизнь заново!»

В этом самом перевоспитании прошли десять месяцев. Затем еще двадцать. Татьяна Алексеевна все еще ничего не знала о судьбе дочери и, год за годом набирая лагерные документы, продолжала отмечать ее дни рождения в одиночестве и тишине.

«Восьмерка» стала для нее не только новым домом, но и вторым университетом.

— Я окончила Московский государственный, но действительно ценные знания приобрела лишь здесь.

«Знаете, что делает жук-навозник в лошадином помете? — говорила моя соседка. — Он строит дом для своего потомства. Жук-навозник всегда спешит, потому что под солнцем помет очень быстро высыхает. Времени на размышления у жука нет — нужно работать, пока предоставляется такой шанс. Самка делает шарик из помета и закапывает его в землю, но прежде чем закопать его, она придает шарик форму груши и кладет на верхушку груши яйцо. Через несколько дней здесь появится личинка и начнет выедать грушу изнутри. Личинка превратится в куколку, а куколка станет жуком. Появившись на свет, жук не будет знать, какой дом для него сделали родители, но сам построит для своих детей точно такой же. Так вот и мы, товарищи, ничем не отличаемся от жука. Мы унижаем себе подобных не потому, что чувствуем в этом необходимость, но потому только, что наши отцы и деды поступали точно так же. Генетическая память. Мы рождены калечить и быть покалеченными».

«Все-таки хочется верить, что мы немного отличаемся от жуков», — повернувшись на другой бок, отвечала я.

Однажды другая моя соседка (позже я узнала, что она была известным искусствоведом) сказала мне:

«Знаешь, Таня, в Священном Писании нет ни одного свидетельства того, как выглядел Иисус. Нет описаний. Мы не знаем, как выглядел сын божий, но у нас есть тысячи картин и икон, которые изменили наше представление о том, кем он был. Теперь всем нам кажется, что мы знаем, как выглядел Иисус. Длинные волосы, борода. Если я сейчас попрошу, ты без проблем его нарисуешь. То же и со Сталиным. Никто не знает, каким должен быть настоящий вождь, но всем нам внушили, что вождь должен выглядеть, как Сталин. Не Сталин вождь, но всякий вождь должен быть подобен Сталину. И эта идея сильнее и глубже, чем мы можем себе представить. Я боюсь, что пройдет еще пятьдесят, шестьдесят лет, а люди по-прежнему будут заблуждаться, будто Сталин не обыкновенный вор, дорвавшийся до власти, но вождь. К сожалению, примитивные народы не видят разницы между реальностью и изображением реальности, а мы примитивны».

«Я видела его вживую...»

«Сталина? Правда? Где?!»

«Он был у нас в секретариате, выступал перед небольшой группой сотрудников».

«И какой он на самом деле?»

«Не такой, как на портретах. Он говорил с очень сильным грузинским акцентом и все время раскачивался. Я смотрела на него и думала, что он вот-вот завалится на спину».

«Когда-нибудь обязательно завалится!»

«Да уж вряд ли...»

Как-то раз, заметив, что Татьяна Алексеевна что-то черкает на листочке, соседка по нарам спросила, может ли Таня нарисовать ее дочь.

— У меня получилось. По «восьмерке» пошел слух. Так я стала главным портретистом барака. Достать бумагу было не легче, чем раздобыть еду или спирт, но, в желании обзавестись портретами собственных детей, даже за самый маленький клочок бумаги женщины отдавали недельный запас табака. Едва ли не каждый вечер, сев рядом со мной, заключенные описывали своих мальчиков и девочек. Грустные и веселые, пухленькие и худые. Сотни детских глаз. Теперь, возвратившись с работы, я занималась не собственными делами, но составлением фотороботов украденных советской властью детей...

Я рисовала чужих малышей, но никогда не бралась за Асю. Не знаю почему. Наверное, слишком боялась. Меня и без того мучили фантомные боли. Дочери не было рядом, но я то и дело слышала ее голос, чувствовала прикосновение ее рук. Я помнила, как она смеется, и время от времени мне чудилось, будто дочь моя бежит по бараку. Если честно, я и сама не понимаю, как не сошла с ума... Впрочем, наверное, было рано — я ведь не знала, что ждет меня впереди...

«Есть одна старая истина, — разглядывая рисунок своего сына, говорила смотрящая по бараку, — человек живет, пока на этой земле его держат дела. Нет дел — нет человека, помирает сразу. Выходит, все мы здесь, в лагерях, живы еще только потому, что где-то там, на воле, нас ждут мужья и сыновья...»

«Или не ждут, — отвечала женщина, которая когда-то рассказывала нам про жука-навозника. — Может, они мертвы уже, а коли мертвы — так и нет у нас никаких дел. Какие тогда у нас тут дела?»

«Плакать!»

«Плакать? Так этой земле слез хватит и без нас! Лично у меня здесь дел не осталось!»

«Что ты такое говоришь? А твой муж? А дети твои? Разве попала бы ты сюда, если бы муж твой не был арестован?»

«Нет у меня больше мужа! Я чувствую, что его нет! И детей моих нет! В земле они, и я в ней скоро буду...»

«Как ты можешь так говорить?»

«Слушай, может, хватит уже, а?! Вам самим-то не противно все это слушать? Ходите тут, строите из себя жен декабристов. Неужели вы не понимаете, что никого из наших близких давно нет?!»

Татьяна Алексеевна слушала спорящих женщин, но в разговор не вмешивалась. Она понимала, что муж, скорее всего, расстрелян, но сердце отказывалось в это верить. Она по-прежнему надеялась, что все закончится хорошо.

— Я чувствовала, что Алексей и Ася живы, и значит, на этой земле у меня действительно есть дела. Я верила, что пройдет еще несколько лет, и я заберу дочь из детского дома, и вместе мы будем ждать отца, и я буду спать максимум час или два в сутки, чтобы наверстать все то время, что провела в лагере. Аська будет сопеть у меня под боком, и, сидя рядом, я буду охранять ее сон. Я думала о маленькой девочке, постоянно забывая, что моей дочери уже пятнадцать лет...

Весной 53-го, через неделю после смерти Сталина, над лагерем разорвалось волшебное слово — амнистия. Освобождение светило беременным и тем, чьи дети содержатся в детских домах. Шептались также, что осужденным на срок свыше пяти лет скостят половину. После восьми лет в лагере у Татьяны Алексеевны вдруг появился шанс. Лагерь пребывал в невероятном возбуждении, и она радовалась вместе со всеми. Пока не попадающие под амнистию женщины умоляли конвоиров в срочном порядке обрюхатить их, Татьяна Алексеевна работала с документами как никогда усердно — впервые за долгое время ей хотелось отблагодарить советскую власть. Шутка ли, после стольких лет разлуки она получала возможность увидеться с дочерью...

**ПРЕЗИДИУМ
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР**

**УКАЗ ОТ 27 МАРТА 1953 ГОДА
ОБ АМНИСТИИ**

В результате упрочения советского общественного и государственного строя, повышения благосостояния и культурного уровня населения, роста сознательности граждан, их честного отношения к выполнению своего общественного долга укрепились законность и социалистический правопорядок, а также значительно сократилась преступность в стране.

Президиум Верховного Совета СССР считает, что в этих условиях не вызывается необходимостью дальнейшее содержание в местах заключения лиц, совершивших преступления, не представляющие большой опасности для государства, и своим добросовестным отношением к труду доказавших, что они могут вернуться к честной трудовой жизни и стать полезными членами общества.

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Освободить из мест заключения и от других мер наказания, не связанных с лишением свободы, лиц, осужденных на срок до 5 лет включительно.
2. Освободить из мест заключения осужденных, независимо от срока наказания, за должностные и хозяйственные преступления, а также за воинские преступления, предусмотрен-

НЫЕ СТ. СТ. 193.4 П. А, 193.7, 193.8, 193.10, 193.10 П. А, 193.14, 193.15, 193.16 И 193.17 П. А УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР И СООТВЕТСТВУЮЩИМИ СТАТЬЯМИ УГОЛОВНЫХ КОДЕКСОВ ДРУГИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК.

3. ОСВОБОДИТЬ ИЗ МЕСТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА НАКАЗАНИЯ, ОСУЖДЕННЫХ: ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 10 ЛЕТ, И БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН; НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ; МУЖЧИН СТАРШЕ 55 ЛЕТ И ЖЕНЩИН СТАРШЕ 50 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ОСУЖДЕННЫХ, СТРАДАЮЩИХ ТЯЖЕЛЫМ НЕИЗЛЕЧИМЫМ НЕДУГОМ.

4. СОКРАТИТЬ НАПОЛОВИНУ СРОК НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ НА СРОК СВЫШЕ 5 ЛЕТ.

5. ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВОМ ВСЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЛА И ДЕЛА, НЕ РАССМОТРЕННЫЕ СУДАМИ, О СОВЕРШЕННЫХ ДО ИЗДАНИЯ НАСТОЯЩЕГО УКАЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯХ:

А) ЗА КОТОРЫЕ В ЗАКОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 5 ЛЕТ ИЛИ ДРУГИЕ МЕРЫ НАКАЗАНИЯ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С СОДЕРЖАНИЕМ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ;

Б) ДОЛЖНОСТНЫХ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В СТАТЬЕ 2 НАСТОЯЩЕГО УКАЗА;

В) СОВЕРШЕННЫХ ЛИЦАМИ, УКАЗАННЫМИ В СТАТЬЕ 3 НАСТОЯЩЕГО УКАЗА.

ПО ДРУГИМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ ДО ИЗДАНИЯ НАСТОЯЩЕГО УКАЗА, ЗА КОТОРЫЕ В ЗАКОНЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА СРОК СВЫШЕ 5 ЛЕТ, СУД, ЕСЛИ ПРИЗНАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ИЗБРАТЬ МЕРУ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НЕ СВЫШЕ 5 ЛЕТ, ОСВОБОЖДАЕТ ПОДСУДИМОГО ОТ НАКАЗАНИЯ, ЕСЛИ ЖЕ СУД ПРИЗНАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ИЗБРАТЬ МЕРУ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НА СРОК СВЫШЕ 5 ЛЕТ, — СОКРАЩАЕТ СРОК НАКАЗАНИЯ НАПОЛОВИНУ.

6. Снять судимость и поражение в избирательных правах с граждан, ранее судимых и отбывших наказание или досрочно освобожденных от наказания на основании настоящего Указа.

7. Не применять амнистии к лицам, осужденным на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленное убийство.

8. Признать необходимым пересмотреть уголовное законодательство СССР и союзных республик, имея в виду заменить уголовную ответственность за некоторые должностные, хозяйственные, бытовые и другие менее опасные преступления мерами административного и дисциплинарного порядка, а также смягчить уголовную ответственность за отдельные преступления.

Поручить Министерству юстиции СССР в месячный срок разработать соответствующие предложения и внести их на рассмотрение Совета Министров Союза ССР для представления в Президиум Верховного Совета СССР.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА
Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ

+

Нет. Не получала. Указ об амнистии вышел 27 марта. Читая первые шесть пунктов, Татьяна Алексеевна задыхалась от счастья. Прочитав седьмой — потеряла сознание.

Когда она пришла в себя, по радио давали Пятую симфонию Чайковского.

— Я долго лежала на полу, не открывая глаз, и лишь начальник лагеря сумел растолкать меня.

«Павкова, ты так-то чего это мне тут развалилась, а?»

«Я ведь попадаю под седьмой пункт, да?»

«Да, голуба. Так-то враги народа должны перевоспитываться до конца!»

«То есть блатные выйдут, а я нет?»

«То есть блатные выйдут, а ты нет — все ты верно подметила».

«Но как же так?»

«Как-то так, дорогуша, как-то так. Только ты мне туто-ка забастовок не устраивай! Ты на вот, выпей воды и поднимайся. Нечего мне тут посреди кабинета лежать. Ты что это у меня, в карцер вдруг захотела?»

Шутки бога. Много лет назад, пытаясь спасти семью, она вычеркнула фамилию мужа из документа о военнопленных. Весной 53-го судьба вернула ей бумеранг: сидя за рабочим столом, Татьяна Алексеевна печатала список готовящихся к освобождению женщин, и ее в этом списке не было.

+

«Восьмерка» опустела летом. Заключение Павкова лежала на нарах, смотрела на собственную фамилию, выцарапанную гвоздем, и шептала стихотворение Иванова:

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.

Только желтая заря,
Только звезды ледяные,
Только миллионы лет.

Хорошо — что никого,
Хорошо — что ничего,
Так черно и так мертво,

Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,

**Что никто нам не поможет
И не надо помогать.**

Спустя год объявили о подготовке еще одной амнистии. На этот раз выпускали заключенных, отбывших две трети срока. Татьяне Алексеевне вновь не повезло — из пятнадцати лет она просидела всего девять. Если в 53-м она чуть было не повторила опыт тюремной больницы, то теперь приняла отказ как нечто само собой разумеющееся.

— Гераклит говорил, что жизнь есть смерть, однако мне теперь кажется, что прав не Гераклит, но Пруст: жизнь есть усилие во времени — мы постоянно пытались выжить.

Сидя в кабинете, отложив в сторону документы, она смотрела в окно, за которым ничего не было.

— Я слушала Шостаковича, которого в тот день почему-то не запрещали, и думала о том, что никогда не окажусь на воле. Глядя на немецкий радиоприемник (после 46-го года мы получили большое количество вещей из фашистских концлагерей, включая посуду), я пыталась представить себе собственную дочь. Последний раз я видела ее в июле 1945-го. Девять лет назад. Прошло девять лет... Ася родилась в 38-м... На дворе стоял 54-й... Моей дочери исполнилось шестнадцать... Какой у нее вес? Как она разговаривает? Какие у нее увлечения? Что она любит, а что нет? Озлоблена ли она на этот мир или нет? Какого она роста? Как говорит? На кого она больше похожа — на меня или на Лешку? Забыла ли она английский? Лешка, знать бы теперь, где ты... Нашей дочери сегодня шестнадцать...

Татьяну Алексеевну Павкову выпустили в 55-м. Как будто ничего и не было. Амнистию объявили, но судимость не погасили. «Прощай, Павкова, не поминай лихом!»

— Меня вышвырнули на свободу, но возвращаться в Москву запретили. Я могла бы нарушить запрет и поехать, несмотря ни на что, но за эти годы не накопила даже на билет — работу в канцелярии в стаж не зачли (я ведь работала там неофициально). У меня не было денег, не было крыши над головой. Вот один из самых страшных дней в моей жизни. Я провела десять лет в ожидании освобождения, а, оказавшись на свободе, вернулась в лагерь по собственной воле. После нескольких часов за забором я пришла к Подушкину и попросила дать мне работу. Следующим же утром я вновь села за свой рабочий стол. Теперь свободная. Эксперимент товарища Сталина удался — тюрьмой для человека становилось не сооружение пенитенциарной системы, но его собственная судьба.

Меня выпустили на свободу, но я возвратила себя в лагерь. На что же ты еще жалуешься, Павкова? Видишь, а ты говорила, что у нас плохо! Мы тебя не приглашали обратно, но ты пришла! Хочешь у нас работать? Ну, не знаем... Нам нужно подумать... Ладно, ладно, мы же уже столько лет друзья! Ты посмотри, как гуманен Советский Союз! Ты перевоспиталась, и теперь мы дадим тебе и зарплату, и комнату в общежитии! Радуйся, Павкова, восхваляй и оплакивай вождя.

Я все еще не могла вернуться «домой», но наконец получила возможность писать письма. Первым делом я взяла отгул и, одолжив у коллег денег на дорогу, съездила в свердловский адресный стол. Там я составила три запроса: на мужа, дочь и Лешиных родителей.

«Как скоро мне ответят?»

«Никто не знает», — спокойно произнесла безликая женщина.

Я понимала, что не стоит ограничиваться лишь адресным столом. Письма пошли в МИД, МВД и КГБ. Я писала в суды с требованием снять с меня судимость и разрешить вернуться в Москву, я писала во все известные мне детские дома. Едва ли не каждый день я составляла новый запрос. Если раньше я мечтала о дне освобождения, то теперь с нетерпением ждала казенного письма со словом «реабилитирована». Мне хотелось отправиться в путешествие, правда, я до сих пор не знала куда. Кого я найду первым: Алексея или Асю? Где он? Где она? Если Леша получил пятнадцать лет — значит, ему осталось еще пять, если двадцать пять — еще десять. «Но теперь это ничего, теперь это ерунда. Пережили войну — переживем и это!»

Они реабилитировали меня в 57-м. Советская власть не извинилась, но поставила меня перед фактом. Вы спрашивали? Мы отвечаем: да, бывали перегибы на местах. На ваш счет мы, быть может, и погорячились. Хотите в Москву? Ну, возвращайтесь в свою Москву.

В столицу я не вернулась, но отправилась в Минск. Кроме могилы отца, в Москве у меня больше ничего не было. В Минске нашлась мама Леша. Приехав сюда, я узнала, что она потеряла мужа, которого пьяный немецкий офицер на спор забил бутылкой. О судьбе сына свекровь по-прежнему

ничего не знала. Я осталась жить здесь, в этой квартире. Свекровь предлагала мне устроиться переводчицей в Академию наук БССР, но я попросилась на почту.

— Зачем? — теперь уже не скрывая, что слушает, спрашивает дядя Гриша.

— У меня был план...

Что я умела? Работать с документами. Чем меня могла напугать советская власть? Ничем. Так я начала копаться в чужих письмах. Меня не интересовали интриги или семейные скандалы, но я искала лишь тех, чьи дети оказались в детских домах. Я хотела оптимизировать поиски. Здесь нужно понимать, что напрямую никто об этом не говорил — советские граждане давным-давно овладели искусством метафоры, но намеки в письмах были. К тому же, вскрывая чужую переписку, я могла отслеживать официальные запросы. В конце концов я смогла найти несколько десятков матерей, которые, как и я, искали своих детей.

Разбросав по почтовым ящикам конверты, вручив телеграммы, я отправлялась по адресам, которые интересовали только меня. Без прелюдий и увертюры, с порога, да-да, в те самые советские времена, я объявляла, для чего пришла.

«Я знаю, что вы сидели...»

«Что?»

«Я тоже. Ваша дочь была в детском доме?»

«Да».

«Можно я пройду?»

Не бесполезная, но настоящая перепись населения. История отсидевшей страны. Татьяна Алексеевна проходила в кухню и объясняла, что по-прежнему ничего не знает о собственной дочери.

«Я даже не знаю, жива ли она...»

Одни приглашали ее сесть и рассказывали все, что знают, другие молча указывали на дверь. Одни больше не боялись, другие были уверены, что их вновь проверяют. Государство страшных секретов. Союз Советских Социалистических Республик, которые, в действительности, объединяли лишь страшные тайны. Ужас молчания, мемориальное общество тишины.

«Не приходите сюда!»

«Погодите, я еще кое-что вам расскажу...»

Незаживающая рана, которую каждый лечил по-своему. Вот тебе подорожник, Тата, вот антибиотик, вот пощечина. Забудь об этом! Знай! Не вороши!

— Я помню, как однажды, выйдя во двор, засмотрелась на какую-то новостройку. В этот момент за почтовую сумку меня дернула молодая девушка:

«Я знаю, зачем вы приходили».

«Конечно, знаете — я ведь почтальон!»

«Не говорите глупости — вы пришли, чтобы узнать, как мы жили. Думаете, вы первая?»

«А разве нет?»

«Конечно, нет, к нам приходили и другие».

«Почтальоны?»

«Мамы...»

Государство не считало нужным сообщать о судьбах родственников. «Откуда мы знаем, нужно вам это или нет? Ну если нужно, так чего вы тянете — составьте запрос, только вот, если честно, к чему ворошить прошлое? Ну кому от этого станет легче? Что вы тут сопли размазываете, как какой-то Красный Крест?»

Отсидевшие граждане делились чем могли. Татьяна Алексеевна брала с собой портреты дочери.

— Да, теперь я сделала их около сотни. Я, конечно, могла ошибаться, но почему-то считала, что Аська должна выглядеть примерно так.

Ася в десять, Ася в пятнадцать лет.

Если только представлялась такая возможность, Татьяна Алексеевна показывала рисунки молодым людям, которые могли оказаться в одном детском доме с ее дочерью.

«Нет, такой у нас не было».

«Ясно, если можно, расскажите, пожалуйста, как вы жили?»

«При первом директоре жили хорошо, когда и его репрессировали — стало хуже».

— Я узнавала, что, как и нас, взрослых осужденных, детей этапировали в детские дома под конвоем, с охранниками и овчарками. Детям полагались пайки и, конечно же, работа. Пять раз в неделю с маленькими тяпками пятилетки выходили в огород полоть грядки. Любая, даже самая маленькая сила должна была поддерживать строительство великой страны.

Я узнавала, что дети поедали пойманных крыс и с первых дней в лагере учились стучать друг на друга, что воспи-

татели были добрыми и злыми, честными и сумасшедшими. Чужие дети рассказывали мне, что одни сироты демонстративно отказывались от своих родителей, а другие тихо, уткнувшись в подушку, обещали мстить за отцов и матерей всю жизнь.

Так начались мои путешествия по Советскому Союзу. В поисках дочери я отправлялась в Пермь и Казахстан, в Красноярск и Свердловск. Один за другим я объезжала детские дома, в которых могла быть моя дочь, но по-прежнему не находила Асю.

«Нет, такой у нас не было...»

Однажды я познакомилась с Ядвигой. Ее мужа, белорусского театрального режиссера, расстреляли в 37-м, сына арестовали в 39-м. Этих людей советская власть уничтожила только за то, что, живя здесь, в Беларуси, они разговаривали на родном языке. Национальный вопрос. Здесь есть только один великий народ. Ядвига знала о судьбе мужа, но не могла найти место захоронения сына. Мы продолжали наши поиски вместе.

Я помню, как мы сидели в этой квартире в апреле 1961 года. Человек только что вернулся из космоса. Юрий Гагарин заявил, что никакого бога там не видал, и, услышав эти его слова, Ядвига съязвила: «Не обязательно было лететь для этого в космос — мог бы просто отправиться в любой лагерь». К этому дню мы уже знали, что ее сын был расстрелян при попытке к бегству.

«Мы опять проиграли, — сказала Ядвига. — Теперь они всегда будут прикрываться этой победой и говорить, что все было не зря...»

«Что не зря?»

«Все не зря. Расстрел царской семьи, белые офицеры, которых, загнав на баржи, тысячами топили живьем, антоновское восстание, сожженные деревни, уничтоженные поэты, голодомор, лагеря — теперь они всегда будут говорить, что все это было не зря».

«Можно подумать, иначе мы бы не смогли полететь в космос».

«К сожалению, большинство всегда будет думать именно так».

Татьяна Алексеевна замолкает. Я смотрю в окно. Только теперь я замечаю, что мы давно приехали. Я вижу свой новый дом, и Булат Окуджава поет:

В года разлук, в года сражений, когда свинцовые дожди
лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди,
и командиры все охрипли... тогда командовал людьми
надежды маленький оркестрик под управлением любви.

Надежды маленький оркестрик под управлением любви.

— И все же, что случилось с вашей дочерью? — перебив Окуджаву, спрашивает дядя Гриша.

— Что случилось с моей дочерью?

— Да, — поворачивается к сидящей позади него Татьяне Алексеевне отчим.

— Вы, наверное, ожидаете от меня интересную историю, да? Что-нибудь захватывающее и увлекательное?

— Мы ожидаем правды.

- Правды? А кому она нужна?
- Подавляющему большинству в этой машине.
- Звучит смешно... В этой машине... В этой проклятой машине, которая перемолола меня... Моя дочь... Моя дочь...

Правда заключалась в том, что ее дочь умерла... от голода. Не было никаких шестнадцати лет, не было даже десяти. Девочка умерла от недоедания зимой 1946-го. Все те годы, что Татьяна Алексеевна провела в лагере, ее дочь лежала в холодной земле, в общей могиле, вместе с другими детьми. У советской власти не нашлось для нее ни гроба, ни креста. Только табличка с номером. В официальном заключении утверждалось, что девочка умерла от порока сердца. В семидесятые Татьяна Алексеевна нашла детский дом в Казахстане, куда отправили Асю. Татьяна Алексеевна увидела помещение, в котором ее дочь спала вместе с шестьюдесятью другими детьми врагов народа, увидела грядку, которую они пололи. Матери показали фотографию, на которой ее девочка смотрела на мир испуганными глазами, и отвезли к месту захоронения.

— Я спросила, могу ли установить крест, и мне ответили, что нет, что крестов здесь не полагается.

Я подумала: «Плевать!» Нашла какого-то мужика в гаражах и попросила его сделать памятник. Казах сварил крест из двух ржавых труб и, несмотря на запрет директора детдома, помог вкопать его в землю. Каждый год я летала в Казахстан и проверяла крест. Крест стоял. Тонкий, но

в человеческий рост. Простой, но гордый. Именно такой, как я хотела.

— А ваш муж? — вновь перебивая Татьяну Алексеевну, спрашивает дядя Гриша.

— Его расстреляли, когда я была в тюрьме. Позже я узнала, что, попав в плен, он стал работать чертежником у немцев. Леша перечерчивал захваченные советские документы, и это спасло его от смерти в лагере, но не уберегло от советской власти.

— Значит, все верно! Выходит, его расстреляли за то, что он работал на врага!

— Дядя Гриша...

— Нет-нет, Саша, ничего, пусть говорит.

— А что дядя Гриша? Она же сама рассказывает, что муж стал работать на фашистов.

— Да, представьте себе, оказавшись в лагере, спасая собственную жизнь, он согласился перечерчивать советские документы. Уверена, вы бы на его месте поступили иначе. Если позволите, я пойду. Как у вас тут дверь открывается?

Когда Татьяна Алексеевна выходит, отчим продолжает:

— Врет она все. Наверняка и дочь ее никто не трогал. Сказала бы спасибо, что, пока сидела, государство приглядывало за ее ребенком. Могли бы оставить девчонку на улице. Наверняка старуха просто выжила из ума. Не было никаких репрессий — все это ерунда. Я видел документальный фильм. Сталин пытался удержать страну, а теперь эти дерьмократы специально подделывают документы и подбрасывают их в архивы, чтобы очернить партию. Только у нас в Беларуси это все не пройдет! Батяка этого не допустит!

Поблагодарив отчима за помощь, я поднимаюсь домой. Не снимая обуви, прохожу на кухню и открываю холодильник. Беру бутылку водки, откручиваю крышку и делаю глоток.

Теперь я знаю историю соседки. Я помню, как она приехала в Советский Союз и поступила в университет, как нашла любовь и стала мамой. Я знаю, что Татьяна Алексеевна все потеряла, и не понимаю теперь лишь одного: почему, узнав о судьбе мужа и дочери уже в 70-е, она не покончила жизнь самоубийством? Для чего, если точка в жизни ее была поставлена уже тридцать лет назад, после стольких лет испытаний она продолжала жить?

Погасив свет, я закрываю дверь, но зайти к соседке не успеваю — путь мне преграждает Лера. Девушка стоит с ноутбуком в руках.

— Я принесла комедию!

— Точно... — отступив, отвечаю я.

Признаться, я рад ее визиту. Лерина забота трогает меня. Вот уже много месяцев никто не интересовался мной. Лера проходит в гостиную и, поставив на стол компьютер, включает фильм. Мы садимся на новый диван. Мебель без истории. Не проходит и десяти минут, как соседка вдруг бьет по пробелу и целует меня. Не божественные создания, но всего лишь вид. «Боже, — думаю я, — благослови Беларусь!»

После того как все случилось, мы лежим на полу и разглядываем потолок. Лера кладет голову на мою руку и, поцеловав меня в плечо, спрашивает:

— О чем ты думаешь?

— О покорении Марса.

— Сколько туда лететь?

— Девять месяцев.

— Девять месяцев... ого... за это время можно родить ребенка.

— Иногда получается быстрее...

— Родить?

— Долететь.

— И что там делать, на этом Марсе?

— Строить новую жизнь.

— Почему бы тебе не заняться этим здесь?

— Здесь это уже невозможно.

— Отчего?

— Не позволит прошлое.

— Но ведь человек, который полетит на Марс, не сможет отправиться туда без прошлого. Невозможно колонизировать новую планету, не применив накопленные знания...

— И в этом наша главная проблема. Мы должны придумать, как поступить с человеком, который полностью себя исчерпал.

— Исчерпал? Не говори глупости! Мы только узнаём друг друга.

— Мы узнаём, а человек давно закончился. Ничего нового с нами уже не случится. Экспедиция на Марс провалится, если мы отправим туда старого человека.

— Нельзя начинать новую жизнь, позабыв о прежней.

— Нельзя, но только так возможно.

+

Спустя несколько недель я лежу в спальне. Дочь еще спит, а потому я могу позволить себе выпить кофе и немного посмотреть телевизор. По Первому (российскому) телеканалу показывают «Слово пастыря». Митрополит рассказывает о кресте:

«Крест в евангельском понимании — это страдание и боль, которые порождаются обстоятельствами, преодолеть которые человек не в силах.

Существует множество примеров самоотвержения человека во имя высшей цели, высшего идеала, высшего блага. Солдат мужественно и терпеливо переносит невзгоды войны, жертвует своей жизнью во имя Отечества и победы, нередко проявляя героизм — высшую степень самоотвержения. Мать ради блага детей беззаветно жертвует собой, претерпевая непосильные тяготы, труды и жизненные невзгоды, зачастую превышающие ее естественные силы.

Итак, способность человека нести крест есть не что иное, как выражение внутренней силы.

В самом деле, нередко человек сам является причиной своей трудной жизни, постигающих его неудач и несчастий. Он совершает ошибки, избирает ложные цели, становится жертвой собственного легкомыслия, неопытности или недобрых намерений, вступает в конфликты с ближними, страдает от своей неосмотрительности и так далее. Такого рода тяготы не есть жизненный крест человека, так как их можно было избежать.

Евангелие и история Церкви определенно свидетельствуют, что крест, если это действительно крест Божий, не может оказаться непосильным...»

«Ну надо же!» — думаю я. В этот момент просыпается дочь, и я выключаю телевизор.



Болезнь наступает. Татьяна Алексеевна уходит. Мы встречаемся каждый день, и всякая наша беседа непременно выявляет новые пробелы. Ластик памяти и ножницы судьбы. Теперь соседка не помнит, что родилась в Лондоне и однажды переехала в Советскую Россию. Она позабыла имя отца и название школы, в которой училась в Москве. Я понимаю, что у меня остается всего несколько недель, а потому все свободное время стараюсь проводить с Татьяной Алексеевной.

— Это ваша жена?

— Нет, это Лера, она живет этажом ниже. Вы ее не помните?

— Нет.

— Вы не против, если она тоже попьет с нами чай?

— Конечно, не против! Я буду очень даже рада!

— Вчера вы рассказали мне, что в середине семидесятых пытались усыновить ребенка...

— Да. И мальчика, и девочку. Мне хотелось помочь ребятам, которые обречены провести детство в советском детдоме.

— И у вас получилось?

— Нет. Мне отказали. У них было сразу несколько причин. Во-первых, по мнению специальной комиссии, я была слишком стара. Во-вторых, мое прошлое вызывало сомнения.

«Вы меня, товарищ Павкова, конечно, простите, но я хочу у вас вот что спросить: где ваш муж?»

«Вы же знаете, он расстрелян».

«Значит, вы вдова... Можем ли мы отдавать детей в неполноценную семью?»

«Мне кажется, во мне много любви».

«То, что вам кажется, нас не интересует. Мы собираемся доверить вам советских детей!»

«Я уверена, что смогу быть им хорошей мамой».

«Мы должны убедиться в том, что у вас получится. Сколько времени вы провели в лагерях?»

«Десять лет...»

«Десять лет! А это ведь оставляет свой след, товарищи! Сложно даже представить, чем все это однажды может обернуться...»

«На что вы намекаете?»

«А почему вы так раздражительны, товарищ Павкова?»

«Я не раздражительна, мне просто хочется, чтобы вы закончили ломать эту комедию! Чего вам еще от меня надо? Вы мало унизили меня? Отобрав дочь и мужа, отобрав десять лет жизни, прикарманив себе мою судьбу, вы хотите чего-нибудь еще? Так скажите! Мне не жалко! Советский Союз научил меня отдавать все. Что я должна сейчас сказать? Зачем вы издеваетесь надо мной?»

«Никто над вами не издевается, товарищ Павкова! Я просто демонстрирую собравшимся, что вы слишком вспльщивы! Лично я не уверена, что такой человек может быть хорошей мамой».

Я встала и ушла. Не могла больше этого терпеть. Я не оправдываю себя. Я понимаю, что ради ребят, которые были в детском доме, должна была выдержать и этот экзамен, но я не смогла.

— У вас не возникало мысли покончить с собой?

— Что?!

— Я спрашиваю, почему после всего, что вам пришлось пережить, вы не покончили жизнь самоубийством?

— Потому что после срыва в тюремной больнице я пообещала себе, что проживу ровно столько, сколько мне отведено. Я должна была отыскать мужа и дочь. Узнав об их смерти — я должна была найти их могилы. Одно только то, что мой муж попал в плен, обеспечило меня заботами на всю жизнь. Я хотела помогать другим матерям и, конечно же, однажды найти его...

— Кого?

— Человека, которого подставила. Вы спрашиваете, почему я не покончила жизнь самоубийством, и я легко могу ответить вам: я жила потому только, что на этой земле меня держало последнее дело — я должна была отыскать неизвестного мне солдата и попросить у него прощения.

— Но за что вы хотели попросить прощения? — вдруг спрашивает Лера.

— Вам известна моя история?

— Да, Саша рассказывал мне.

— Тогда почему вы спрашиваете?

— Я спрашиваю, потому что не понимаю: за что вам просить прощения? Что вы такого сделали, чтобы у кого-то просить прощения?

— Я вписала фамилию другого человека.

— Ну так и что? Разве это на что-то могло повлиять? Вы что, действительно переживали из-за этого полвека?!

— А вы бы не стали переживать?

— Конечно, нет! Что за глупость! Что здесь такого?! Я понимаю, если бы вы выдумали какую-нибудь фамилию из головы, и вдруг оказалось, что такой человек действительно существует и его ни за что ни про что арестовывают. Я понимаю, если бы вы лично приговорили кого-нибудь к смерти, но вы же, насколько я понимаю, этого не сделали! Ну и что с того, что вы вписали фамилию какого-то там солдата дважды? Что с того?! Он же уже был в списке! Вы понимаете, что ровным счетом ни на что не повлияли?! Его что, по-вашему, дважды судили? Два раза отправили в ГУЛАГ? Вы думаете, энкавэдэшники особо рьяно бросились его искать и дважды расстреляли? Я правда не понимаю — вы действительно столько лет расстраивались из-за такой ерунды?!

— Я думала, что поднесла к его фамилии увеличительное стекло...

— Но это же глупость! Это же совсем не так!

— Более того, я переживала, что стала соучастницей преступления. Был список, который составила судьба, и была фамилия, которую я добавила в него лично.

— Ну и что с того? Ну добавили и добавили! Был список, вы повторили в нем фамилию, и поступок этот не мог ни на что повлиять и ничего изменить — какое же здесь преступление?

— Пятьдесят лет я полагала, что преступление против со-
вести...

— Но это же совсем не так! Вы же не добавили эту фамилию — вы просто продублировали ее. Это как стрелять в труп! Но стрелять в труп — это обыкновенное хулиганство, а не убийство.

— Хулиганство это только в том случае, если в момент выстрела вы знаете, что человек уже труп, а, исправляя список, я этого не знала...

Я беру Леру за руку, и она понимает, что лучше замолчать. Татьяна Алексеевна несколько мгновений смотрит в окно и после тяжелой паузы продолжает рассказ:

— Так или иначе, будучи, по вашему мнению, полной ду-
рой, я начала свои последние поиски. Обнаружив места захоронения Леша, Аси и даже Пашки Азарова, я поняла, что у меня остается один лишь последний бой. Я должна была узнать о судьбе человека, чью фамилию напечатала дважды.

— И вы стали отправлять новые запросы?

— Да. Я составляла новые обращения, но дело теперь осложнялось тем, что я помнила лишь фамилию и инициалы... Впрочем, думаю, нам лучше закончить этот разговор...

— Нет, Татьяна Алексеевна, прошу вас, Лера не это имела в виду.

— Не нужно говорить за меня. Я имела в виду ровно то, что спросила, но я не хотела вас обидеть, я просто действительно совершенно не понимаю, за что вы вините себя...

— Татьяна Алексеевна, прошу вас, расскажите, как вы все эти годы...

— Как я жила? Обыкновенно. Пока руки мои помнили — набирала самиздат. Вместе с Ядвигой мы помогали другим родственникам находить близких, и поверьте мне, Саша, порой достать информацию из наших архивов было ничуть не легче, чем вытащить самого человека из лагеря. Почти все свободное время я рисовала, и к концу 80-х картин скопилось так много, что Ядвига предложила мне сделать выставку. Я с юмором отнеслась к этой идее, но подруга настояла. С развалом Союза мои полотна начали путешествовать. Кажется, в 93-м я оказалась с картинами в Милане. Вспомнив, что всего в ста километрах, на озере Лугано меня ждет мой милый Ромео, я отправилась в небольшой городок Порлецца. Вы будете смеяться, но я нашла его. Спустя шестьдесят с лишним лет мы вновь сидели на той же Сан-Микеле. Той гостиницы, в которой я однажды пряталась от возлюбленного, больше не было, зато остались озеро и горы. Такая красота! Теперь во все это просто невозможно было поверить. Ромео не сразу вспомнил, кто я, но затем рассказал, что несколько недель действительно честно ждал меня в кафе по соседству.

— А после?

— А после все, конечно, прошло.

«Ты был счастлив?» — по-итальянски спросила я.

«Счастлив? Да, в общем-то, да. У меня хорошая семья, трое детей и восемь внуков. Я открыл здесь собственную мастерскую. Вместе со старшим сыном мы ремонтируем машины. Средний уехал во Флоренцию, младший перебрался в Локарно. Да, думаю, я счастлив. Моя жизнь прошла хорошо, разве что с командой не очень повезло. Ты же знаешь, у нас тут в деревне не могло быть нормального футбольного клуба, поэтому я выбрал “Болонью”. До войны они пять раз становились чемпионами Италии, но после сороковых порадовали меня лишь единожды. Наверное, если бы в моей жизни можно было что-нибудь изменить — я бы выбрал другую команду. Ну а ты как? У тебя есть семья?»

«Да, была...»

«Ты приехала в Порлеццу специально, чтобы увидеть меня?»

«Даже не знаю, зачем я приехала... Просто оказалась вдруг рядом... Ты помнишь, почему мы тогда расстались?»

«Нет. Кажется, что-то расстроило тебя. А ты помнишь?»

«Не-а...» — соврала я.

Я много путешествовала. Зачем-то объехала едва ли не всю Европу. Картины, на которых изображены Ася и Леша, теперь есть в частных коллекциях Берлина и Штутгарта, Копенгагена и Лиона. Кажется, только здесь, в Минске, они никому не нужны. Несколько лет назад моя выставка прошла в Женеве. Выбрав свободный день, я отправилась в архив Красного Креста. Никаких согласований, никаких долгих месяцев в ожидании ответа — я объяснила, что хочу увидеть переписку с Советским Союзом, и меня усадили в небольшой

кабинет. Архивариус поставил на стол несколько боксов, и я принялась листать письма, которые когда-то отсылала сюда. Среди прочего я нашла список, в котором швейцарцы скрупулезно описывали судьбы связанных с СССР писем и телеграмм.

Телеграмма от 23/6/41 Народному Комиссару иностранных дел о предоставлении сил МККК в распоряжение СССР, оказании нами помощи, предложении СССР составить списки раненых и военнопленных, которые мы могли бы передать противнику.

Телеграмма от 24/6/41 В ИКРЕСТПОЛ, уведомляя о нашем вчерашнем обращении к Молотову и предлагая помощь при любых обстоятельствах (без ответа).

Телеграмма от 9/7/41 Народному Комиссару, сообщая об отъезде Жюно в Анкару и согласии Германии, Финляндии, Венгрии и Румынии обменяться списками военнопленных в соответствии с телеграммой от 27 июня.

Телеграмма от 22/7/41 Народному Комиссару, уведомляя о том, что Италия и Словакия дают согласие на взаимной основе об обмене списками военнопленных и раненых и что Италия будет готова применить конвенцию о военнопленных. Запрос ответа по данному вопросу и сообщение о прибытии доктора Жюно в Анкару (ответ от 8/8 от Вышинского) (отправка аналогичной телеграммы в ИКРЕСТПОЛ).

- Телеграмма от 8/8/41 От Вышинского, Первого Заместителя наркома иностранных дел, сообщающего о том, что СССР признает обязательным следование Гагской конвенции, дающего согласие на обмен данными о военнопленных, однако косвенно отказывающегося применить конвенцию о военнопленных (см. приложение).
- Письмо от 15/8/41 Народному Комиссару, отправляя специальную заметку о принципах, принятых всеми воюющими сторонами, для передачи сведений о военнопленных (без ответа). (Аналогичная телеграмма в ИКРЕСТПОЛ от 22/8/41, без ответа.)
- Телеграмма от 22/8/41 Народному Комиссару, уведомляя о готовности Финляндии принять Гагскую конвенцию в случае взаимной договоренности и о создании ею своего Управления (без ответа).
- Телеграмма 22/8/41 От Главного Разведывательного управления в Москве доктору Жюно в Анкару, передавая уточнения, касающиеся составленных списков, и объявляя о том, что военным, захваченным СССР, разрешено отправить своим семьям сообщения о пленении.
- Телеграмма 28/8/41 Народному Комиссару о признании Румынией Гагской конвенции и составлении ею списков советских военнопленных (без ответа).

- Телеграмма 18/9/41** Народному Комиссару, запрашивая согласие со стороны представителя в Иране на оказание помощи в эвакуации немецкого гражданского населения.
- Телеграмма 25/9/41** Народному Комиссару с просьбой о предоставлении виз Жюно, Рамзейеру (без ответа).
- Телеграмма 25/9/41** В ИКРЕСТПОЛ с просьбой ускорить отправку списков и уведомлением о запросе на выдачу виз нашим представителям (без ответа).
- Телеграмма 1/10/41** В ИКРЕСТПОЛ с предложением о посредничестве Службы спасения с целью отправки русским военнопленным коллективных посылок, еды и одежды и уведомлением о том, что мы могли бы сделать покупки для советской стороны. Просьба о применении на взаимных началах статьи 15 Гаагской конвенции для немецких военнопленных в СССР с целью отправки такой же посылки (без ответа).
- Письмо 13/11/41** Виноградову в Посольство Анкары с предоставлением 279 списков со стороны Румынии, подготовленных правительством этой страны без взаимных договоренностей (без ответа).
- Письмо 14/11/41** Принцу Карлу, сообщая о нашем согласии с СССР об обмене военнопленными и том, что Россия не передала нам списки и не ответила на предложение об отправке нашего представителя. Просьба к принцу Карлу изложить свои предложения и рекомендации (без ответа).
-

- Телеграмма 14/11/41 В ИКРЕСТПОЛ и Посольство СССР в Анкаре с просьбой предоставить актуальный адрес ИКРЕСТПОЛ, уведомлением о том, что итальянские власти обращаются с русскими интернированными гражданами так же, как и с представителями других национальностей, напоминанием об отправке нашей Делегацией в Анкаре списков военнопленных из Германии, Румынии и Италии (без ответа).
- Телеграмма 20/11/42 Народному Комиссару и в ИКРЕСТПОЛ, информируя их о том, что мы получили списки из 2894 имен советских военнопленных в Румынии и что последующие отправки посылок будут приостановлены правительством Румынии до заключения соглашения на взаимных основах (без ответа).
- Письмо 21/11/41 От мадемуазель Канш к мадемуазель Коллонтай, послу в Стокгольме, с напоминанием об обращениях МККК к русским властям и важности предоставления визы доктору Жюно (без ответа).
- Письмо 2/12/41 От г-на Бюркарда г-ну Майскому с напоминанием о вчерашней беседе, касающейся действий МККК, и о вопросе предоставления виз для наших делегатов.

- Телеграмма 6/12/41** В ИКРЕСТПОЛ и в Посольство СССР в Анкаре о поступлении в Женеву списка из 400 раненых и больных русских граждан в Финляндии, который мы имеем право передать только в случае встречного предложения СССР (без ответа).
- 18/12/41** Беседа дипломатического представителя СССР в Лондоне и г-на Бюркарда о списке кандидатов на пост представителя в СССР, который будет благосклонно изучен советскими властями.
- Письмо 7/1/42** От Красного Креста США (Норман Дэвис) с уведомлением о готовности немецкой стороны и высказыванием обеспокоенности, вызванной бездействием русских.
- Телеграмма 14/1/42** Народному Комиссару, г-ну Майскому и м-ль Коллонтай с предоставлением списка шведских и швейцарских представителей, готовых отправиться в СССР, вследствие переговоров с Майским (без ответа).
- Телеграмма 5/2/42** Народному Комиссару с предложением о выдаче сахара русским военнопленным в Германии и Румынии и запросом о возможности отправки посылок немецким пленным в СССР (без ответа).

- Телеграмма 27/2/42 Народному Комиссару с предложением о снабжении витаминами русских военнопленных и заявлением о согласии немцев осуществлять выдачу витаминов под надзором наших представителей при условии въезда делегатов МММК в Россию (без ответа).
- Письмо 9/3/42 Г-ну Винану с предупреждением о том, что мы не получили никакого ответа от СССР об одобрении кандидатур наших делегатов; российские власти не высказались даже о принципах самой миссии.
- Телеграмма 1/4/42 Народному Комиссару о предложении румынского правительства провести репатриацию тяжелораненых на взаимных началах (без ответа).
- Телеграмма 23/7/42 Г-ну Молотову, запрашивая информацию по требованию финского правительства о военнопленных, предлагая обмен списками, указывая на отсутствие ответа на предложение отправления делегации и предлагая простой обмен сведениями. (Письмо было передано через Курвуазье, оставлено без ответа.)

- Письмо
24/7/42 Г-ну Молотову, передавая просьбу финского правительства об обмене данными (ст. 14 Гагской конвенции и ст. 4 Женевской конвенции), предлагая передачу информации с помощью нашей делегации в Анкаре в форме синхронного обмена, отправку на взаимных основах сообщений о пленении всем воюющим сторонам. Меморандум в приложении (без ответа).
- Письмо
28/8/42 Г-ну Молотову о предложении румынских властей об обмене 1018 русских недееспособных военнопленных на информацию о румынских пленных (без ответа).
- Телеграмма
5/10/42 В ИКРЕСТПОЛ о посещении лагерей с русскими военнопленными в Финляндии в июле, августе настоящего года и о раздаче на месте американских посылок. Сообщить в компетентные советские органы.
-

Я отложила список и, вытирая слезы, обратилась к работнику архива. Спустя пятьдесят с лишним лет я задала вопрос, который однажды в коридоре НКВДа моя коллега адресовала мне:

«Зачем вы это делали?»

«Что вы имеете в виду?»

«Зачем вы писали нам все эти письма?»

«В каком смысле?»

«Зачем вы отправляли нам все эти письма, если видели, что мы не хотим забирать тысячу собственных военнопленных даже в обмен на пустяшную информацию?!»

«Затем, что в этом и состоит наша гуманитарная миссия. К тому же, уверяю вас, мои коллеги не могли поверить, что вам действительно наплевать на собственных солдат. Многие сотрудники Красного Креста наивно полагали, что Москва молчит только потому, что мы неправильно оформляем документы».

«И несмотря на это, вы все равно продолжали писать...»

«Мы всегда считали, что в любом правительстве и организации можно найти человека, который отзовется. Девять человек не ответят, но десятый обязательно прочтет и что-нибудь предпримет».

«К сожалению, вы нас недооценивали».

Вы спросили, почему я жила. Почему все эти тридцать лет находила в себе силы жить. В тот день в Женеве я тоже задалась этим вопросом. Почему я все еще жила? Я жила,

потому что ждала. Тридцать лет я ждала казенного письма, которое примирит меня с собой. Единственное, чего я теперь хотела, — узнать о судьбе неизвестного солдата, и 31 декабря 1999 года, всего за несколько часов до Нового года, в мою дверь позвонил почтальон.

+

Я не поверила глазам. Мужчина вручил мне письмо и был таков. Впрочем, мог ли он понимать, к какому чуду причастен? Я прошла в кухню и села. Долго не решалась открыть конверт. Наконец сделав это, я узнала, что человек, которого я искала больше тридцати лет, жив! Кажется, я так радовалась только в тот день, когда увидела в списке Лешу. Я позвонила Ядвиге, и она приехала. Мы быстро собрались и отправились в аэропорт. Минск — Москва, Москва — Пермь — Новый год мы встретили в аэропорту.

Темным утром въехали в маленький городок. Я расплакалась. Точно в таком же я жила, когда вышла на свободу. Страшный мир, где градообразующим объектом является тюрьма. Мертвая земля.

Таксист высадил нас у нужного дома в семь тридцать утра. Во дворе залаяла собака. Я посчитала, что неприлично заявляться так рано, но в избе загорелся свет. Ядвига боялась пса, но дворняга сидела на цепи, и после стольких лет в лагере я с легкостью могла рассчитать возможности этой собаки. Пес был уродлив, но не страшен. Он не представлял опасности даже для девяностолетней старухи. Я прошла

протоптанной дорожкой и постучала в дверь. Спустя несколько мгновений мне открыл старик.

«Павкин Вячеслав Викторович?»

«Да».

«Можем мы пройти?»

Он ничего не ответил. Я сразу поняла, что передо мной тот солдат. Люди, побывавшие в плену, лишних вопросов не задают. Я попросилась войти, и он впустил меня.

Вячеслав Викторович сел на стул и положил руки на колени. Мы остались в сених. Чуть впереди я, Ядвига позади меня. Мне было жарко, но я не решалась раздеться. Он молча смотрел на меня.

«Вы были в румынском плену?»

«Да», — не голосом даже, но кивком головы ответил Павкин.

«Во время войны я работала в НКВДе. Однажды к нам пришел список военнопленных, в котором были вы. К сожалению, в этом списке оказался и мой муж. Его фамилия шла сразу за вашей. В тот день я жутко перепугалась и посчитала, что если не удалю фамилию мужа, непременно попаду под арест. Жена врага народа — вы, конечно, же помните эти слова. У меня был доступ к секретным документам, и я опасалась за дочь...»

Вячеслав Викторович молча смотрел на меня. Он едва заметно покачивал головой, но я не могла понять, тик это или согласие. В любом случае, он внимательно слушал меня, и я продолжала говорить.

«Прочитав документ, я решила вычеркнуть мужа из румынского списка. Понимая, что список уйдет в НКВД, я приняла решение удалить собственного мужа и повторить вашу

фамилию. Я не знала вас, не знала, есть ли у вас дети и семья, но таким образом подвергла вас и ваших близких двойному удару. Спасая себя и собственного мужа, я подставила вас...»

Павкин по-прежнему ничего не говорил. Я смотрела на него и пыталась быть тактичной. Поверьте мне, Александр, даже в девяносто лет переживший все человек способен испытывать волнение. Я смотрела на такого же, как я, старика и старалась подобрать правильные слова.

«Тридцать лет я искала вас. Начиная с семидесятых писала запросы куда только могла, искала людей из румынского списка. И лишь вчера я получила письмо, из которого поняла, что вы живы. К письму прилагался этот адрес, и, не раздумывая, я прилетела к вам».

«Зачем?»

Я поняла, почему он задал этот вопрос. Наступил самый тяжелый момент. Спустя столько лет я должна была покаяться, попросить прощения за содеянное. Только был ли в этом смысл? 2000 год. Ему восемьдесят с лишним. Могу ли я вернуть его семью?

«Так зачем вы приехали сюда?» — повернувшись ко мне, еще раз спросил он.

«Чтобы извиниться...»

«Но за что?»

Я поняла: вероятно, задавая этот вопрос, Павкин хотел, чтобы я все проговорила, чтобы не осталось лакун.

«Я приехала извиниться за то, что тогда, в начале войны, получив список военнопленных, перевела его неверно и, вычеркнув своего мужа, дважды указала на вас. Я приехала извиниться за то, что исправила тот список...»

«Да какой список?»

«Список, из-за которого пострадала ваша семья...»

«Но моя семья не пострадала...»

«В смысле?»

«В прямом. Моя семья не пострадала!»

«Но вы ведь были в румынском плену?»

«Был. Сперва в румынском плену, затем в других лагерях».

«Вы знали, что список военнопленных пошел в НКВД, и они арестовывали всех близких военнопленных?»

«Нет. Ничего такого я не знал. Меня освободили в 1945 году, и я вернулся домой. На семью мою никто не нападал и никаким репрессиям никто не подвергался. Жена моя умерла пять лет назад от инсульта, а сын мой и внуки живут в Архангельске».

«Значит, вас и ваших родственников не репрессировали?»

«Да говорю же, нет!»

Я расплакалась. От счастья за этого человека и хитро-сплетений собственной судьбы. Вы правы, Лера, я была полной дурой. Иногда необходимо полвека, чтобы понять, что заблуждаешься. Неверный путь. Тысячи километров в сторону тупика. С 41-го года я винила себя за то, что подставила другого человека, и лишь год назад, оказавшись в доме у Павкина, узнала, что никаких арестов по румынскому списку не было.

Мы вышли из дома и отправились на главную площадь. Таксист ожидал нас возле памятника Сталину. За время на-

шей короткой беседы кто-то отбил вождю его маленькую голову. Я попросила отвезти нас обратно в аэропорт, и машина заскользила по заснеженной дороге.

Кажется, я говорила вам, что там, в лагере, много лет назад придумала себе бога. Кажется, я также говорила вам, что Альцгеймер свалился на меня потому только, что бог боится встречи со мной. Когда я вернулась из Пермского края, милая женщина, риелтор, которая продает квартиры в нашем доме, как-то сказала мне, что я теряю память потому только, что бог любит меня. По ее мнению, бог милосерден и таким образом, в конце жизни, демонстрирует свою доброту. Он якобы помогает мне и, стирая самые страшные места, награждает меня...

Что ж, это мнение женщины, которая продает квартиры. Она думает, что этому фокуснику удастся меня провести, но это не так. Уверяю вас, Саша, отправляясь туда, я уверена на тысячу процентов, что, как бы он ни старался, я ничего не забуду, никогда.

+

Татьяна Алексеевна умирает 7 декабря. На похоронах я, риелтор, моя мама и Лера. Какие-то художники и обладатели картин Татьяны Алексеевны. Подруга Ядвига на похороны не приходит. Вот уже несколько месяцев она тяжело больна. Сама ли она вызвала свою болезнь, я не знаю, но время от времени навещаю ее.

Татьяны Алексеевны больше нет. Ее квартира ждет нового владельца, и, разглядывая красный крест на ее двери, я задаюсь одним лишь вопросом: почему Павкина отправили домой, а мужа Татьяны Алексеевны расстреляли?

Соседка рассказала мне, что все эти годы мужчины провели вместе, вместе их отправляли из лагеря в лагерь, вместе освободили в 45-м году. Вместе они должны были вернуться домой, но один солдат отчего-то был уничтожен, а другой освобожден и представлен к наградам.

Этот вопрос не дает мне покоя. Навестив могилу жены в Екатеринбурге, я прошу у друга дать мне машину на день. Въехав в деревушку, я вижу памятник Сталину с новой, непропорционально большой головой. Отыскав дом Павкина, я стучу в дверь. Спустя несколько мгновений мне открывает худой старик.

— Вячеслав Викторович? — спрашиваю я.

— Да.

— Добрый день! Я к вам из Екатеринбургa. Можем мы поговорить?

— Ну да.

Я прохожу. Дом бедный. Хижина одинокого мужика. Первое, что я замечаю, — портрет Сталина на ковре на стене.

— Вы знаете, я бы хотел задать вам один вопрос...

— Ну валяй...

— Вы помните такого солдата — Павкова Алексея, он вместе с вами был в плену.

— Ну, допустим, помню, и что?

— Вы могли бы мне о нем рассказать?

— А что о нем рассказывать?

— Все. Какой он был солдат?

— Во-первых, Павков никогда не был солдатом. Солдатом был я, а он всего-навсего готовил диверсии.

— Простите, я неточно выразился, но так вы его помните?

— Ну даже если и помню, то что?

— Вы знаете, как закончилась его жизнь?

— А мне какое дело, как закончилась его жизнь? Мы с ним не были друзьями.

— И все же... Вы знаете, что его расстреляли?

— Ну и что?

— Неужели вам наплевать на человека, который вместе с вами провел столько лет в плену?

— Слушайте, мы жили в одном бараке, только я каждый день выполнял тяжелую работу, а он сидел в теплом каби-

нете у фрицев и что-то там малевал. Я падал с ног от усталости, а эта шкура, возвратившись в барак, рассуждал, что все из-за товарища Сталина, что товарищ Сталин такое же чудовище, как и Гитлер. В новом лагере я опять впахивал, а этот приживала находил себе теплое местечко! Гнида он был, этот Павков, контра поганая и мразь!

— Ясно. А после освобождения из плена вы были в советском фильтрационном лагере?

— Конечно, был! Как и все, был! Только у меня грехов перед советской властью не было, а потому меня сразу выпустили!

— Как это выпустили?

— Легко! Мне сразу предложили сотрудничать, и я рассказал все как было. И про Павкова этого вашего, и про других таких же антисоветчиков. Говорят теперь, что были репрессии, что всех их отправляли в лагеря и расстреливали, но ничего такого не было! Меня вызвали на допрос всего два раза, были со мной очень вежливы, и когда я все рассказал, отправили домой. Честных людей советская власть никогда не трогала!

— А многих людей отправили домой вместе с вами?

— Не знаю, я один вышел.

Старик идет на улицу. Я за ним. Он берет лопату, а я сажусь в машину. Старик долго шагает по заснеженной дороге. Я спрашиваю, не нужно ли его подвезти, но он отказывается. Наконец мы оказываемся на главной площади. Я понимаю, что старик пришел сюда, чтобы убрать снег возле памятника вождю.

+

Спустя год после смерти Татьяны Алексеевны я отправляюсь в гранитную мастерскую. Протягивая работнику листок, я спрашиваю, можно ли сделать подобную эпитафию.

— Вы с памятником-то уже определились?

— Да, я бы хотел, чтобы это был красный гранитный крест.

— Ага, без проблем. А надпись такую сделаем — тут нет ничего сложного.

Через несколько дней крест готов. Я заказываю доставку и установку. Мастера работают аккуратно и быстро.

Сейчас теплый и сухой ноябрьский день. Мы на Северном кладбище. Над памятником шумят деревья. Солнечный луч падает на выгравированную на кресте эпитафию, и я читаю последние, обращенные ко всем нам слова:

Не стойте над душой

+

Литературно-
художественное
издание

Саша
ФИЛИПЕНКО

красный крест

р о м а н

Редактор
Татьяна Тимакова

Художественный редактор
Валерий Калныньш

Корректор
Татьяна Трушкина

Подписано в печать 03.03.2017

Формат 70x108/32.

Тираж 3000 экз.

Усл. печ. л. 9,8

Заказ № 218.

ООО «Время»

117105, Москва,

Варшавское шоссе, 3

<http://books.vremya.ru;>

letter@books.vremya.ru

(495) 954 10 82

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, Екатеринбург,

ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

book@uralprint.ru

16+

Филипенко, Саша
Ф53 Красный Крест : роман / Саша Филипенко. — М. : Время, 2017. — 224 с. — (Самое время!)

ISBN 978-5-9691-1607-8

Свой читатель появился у Саши Филипенко сразу — после успеха «Бывшего сына» и двух следующих романов. «Травля», еще до выхода книгой опубликованная «Знаменем», по данным электронного портала «Журнальный зал», стала в 2016 году самым популярным текстом всех российских толстых литературных журналов. Значит, свой читатель понимает, чего ему ожидать и от «Красного Креста». Он не обманется: есть в романе и шокирующая, на грани правдоподобия, история молодого героя; и сжатый, как пружина, сюжет; и кинематографический стык времен; и парадоксальная развязка. Но есть и новость: всю эту фирменную Сашину «беллетристику» напрочь перешибает добытый им и введенный в роман документальный ряд — история контактов Наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста в годы войны. Саша Филипенко — мастер создавать настроение ассоциативным монтажом. Представляя читателю «Красный Крест», воспользуемся его приемом, процитируем Иосифа Бродского: «От любви бывают дети. / Ты теперь один на свете. / Помнишь песню, что, бывало, / я в потемках напевала? / Это — кошка, это — мышка. / Это — лагерь, это — вышка. / Это — время тихой сапой / убивает маму с папой».

ISBN: 978-5-9691-1607-8



9 785969 116078



Свой читатель появился у Саши Филипенко сразу — после успеха «Бывшего сына» и двух следующих романов. «Травля», еще до выхода книгой опубликованная «Знаменем», по данным электронного портала «Журнальный зал», стала в 2016 году самым популярным текстом всех российских «толстых» литературных журналов. Значит, свой читатель понимает, чего ему ожидать и от «Красного Креста». Он не обманется: есть в романе и шокирующая, на грани правдоподобия, история молодого героя; и сжатый, как пружина, сюжет; и кинематографический стык времен; и парадоксальная развязка. Но есть и новость: всю эту фирменную Сашину «беллетристику» напрочь перешибает добытый им и введенный в роман документальный ряд — история контактов Наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста в годы войны.

Саша Филипенко — мастер создавать настроение ассоциативным монтажом. Представляя читателю «Красный Крест», воспользуемся его приемом, процитируем Иосифа Бродского: «От любви бывают дети. / Ты теперь один на свете. / Помнишь песню, что, бывало, / я в потемках напевала? / Это — кошка, это — мышка. / Это — лагерь, это — вышка. / Это — время тихой сапой / убивает маму сапой».